



Проза:
женский род

МАЙЯ КУЧЕРСКАЯ

роман

ТЁТЯ МОТЯ

Майя Кучерская

Тётя Мотя

«Автор»

2013

Кучерская М. А.

Тётя Мотя / М. А. Кучерская — «Автор», 2013

Майя Кучерская – прозаик, литературный критик; автор романа «Бог дождя» (премия «Студенческий Букер») и книги «Современный патерик. Чтение для впавших в уныние» («Бунинская премия»). «Адюльтер – пошлое развлечение для обитателей женских романов», – утверждает Тетя Мотя (или Марина), в прошлом учитель русского и литературы, сейчас корректор еженедельной газеты и – героиня одноименного романа Кучерской. Но внезапно Марина сама оказывается в центре событий: любовная связь, которой она жаждет и стыдится, душная семейная жизнь, сумасшедший ритм газеты. . . Неожиданно в руки ей попадают записки сельского учителя: неспешная жизнь уездного городка, картины исчезнувшего русского быта, сценки с Нижегородской ярмарки и чайных плантаций на острове Цейлон. Остается только понять, где настоящая жизнь, а где ее имитация.

© Кучерская М. А., 2013

© Автор, 2013

Содержание

Часть первая	5
Глава первая	5
Глава вторая	9
Глава третья	16
Глава четвертая	24
Глава пятая	33
Глава шестая	50
Глава седьмая	60
Конец ознакомительного фрагмента.	62

Майя Кучерская

Тетя Мотя

Часть первая

Глава первая

Забыла закрыть занавески, и комнату затопил мягкий утренний свет. Ветер качнул форточку – плеснуло сырým, свежим, согретым. Вторую неделю стояла ласковая обманчивая теплынь.

Было до странности тихо, только чуть слышно скреб в стекло тополь, такой высокий стал, совсем вырос, а тихо-то, как в деревне, но едва она подумала это, все кончилось – грохнула дверь вниз, по двору зацокали каблучки, загомонили дворники, зафырчал, замучился никак не заводившийся «запорожец». Коля дружил с его хозяином-рыболовом. Захлебнулся детским твяканьем щен – вывели погулять после длинной ночи.

И еще восемь бессмысленных минут. Она жмет на кнопку, отключает будильник. Лежит. В 7:30 откидывает одеяло, набрасывает халат, идет. Обогнать, пройти еще несколько шагов. Все же хорошо пока, даже выпалась, и погода!.. Но, как обычно, не успевает. Сухое рыдательное, тупое лезвие «немогубольшежить» уже ведет, медленно ведет по онемевшей поверхности души. Да ладно уж, ничего особенного: там давно все исцарапано, исколото, истерто – деревянное сиденье пригородной электрички. Нормально, каждое утро ведь так: фырк «запорожца», спазм в горле, тапочек с дыркой, собственный знакомый утренний запах.

На пороге в детскую она замирает. Смотрит на косяк двери в отметинах – 2000, 2001, 2003, в этом году померить забыли, смотрит, готовясь к следующему шагу, и вдруг понимает: фальстарт. Накатило и отошло. Обычного утреннего отчаяния нет. Не может быть, она вслушивается. Но правда, правда нету. И сейчас же предчувствие благого перелома, близкого, накрывает ее с головой, обнимает и заполняет легкие, живот, ноги. Все изменится очень скоро, если не сегодня вообще. Если не прямо сейчас! Тетя ежится, поводит плечами, промакивает ладонью тут же выступившие слезы, шмыгает носом, сбрасывает с себя морок – все-таки почудилось, помстилось. Но в детскую она заходит с улыбкой.

Здесь еще темно. Темно-вишневые шторы не пропускают свет. Нога наступает на мохнатое – упала с полки Чи-чи. Когда-то Чи-чи казалась великаном, ростом с ребенка, но потом ребенок вырос – и обезьянка сжалась, стала крошкой. В бордовом сумраке доживают последние мгновения сны про собачек, плотный свет переливается красками, радужными, речными; свет и сам река, лимонно-медовая, можно лизать. Доброе утро! Мальчик натягивает на голову одеяло. Сонный, теплый. На мгновение из-под одеяла высовывается пятка – и прячется. Она садится на край кровати, вытаскивает ногу назад, покусывает круглые пальчики. Мальчик выглядывает одним глазом, улыбается жалобно. Но тут же веселеет: «Сегодня ты меня поведешь?»

Мальчику ее не хватает – у нее неправильная работа, часто она возвращается, когда он уже спит. Он не знает, что все подстроено нарочно и такая работа у нее, чтобы... Он не знает ничего.

Она оставляет его досыпать, еще несколько минут, идет на кухню.

На столе в литровой банке с водой стоят кленовые листья, прозрачно-красные, лимонные, просто желтые и желтые с зелеными прожилками, – мальчик собирал их вчера с ее мамой, гулял. Окно было закрыто, за ночь листья надышали: ароматом земли, лисичек, августовского

дождя. Листьев больше, чем нужно, они неопрятно торчат, у некоторых завернулись края – но, ясное дело, проститься хотя бы с одним «таким красивым!» он не мог. Потому что мальчик – Теплый. Так его зовут. Она переставляет букет со стола на подоконник, открывает форточку.

Через полчаса сын умыт и накормлен овсяной кашей, которую, по счастью, любит. Особенно если на каше нарисовать вареньевую рожицу или кота. С вареньем полный порядок – свекровь шлет из деревни банку за банкой. Ест Теплый хорошо, а одеваться быстро не умеет, Тетя ему помогает, натягивает прогулочные штаны, футболку, которую он надел сам, снимает и переодевает нормально, не задом наперед. Завязывает шнурки. В пять без малого лет пора одеваться самому. Но она слишком редко его видит.

Дверь в третью комнату плотно закрыта – там папа, он спит, сегодня не его очередь.

Они выходят во двор. Сын застывает. Видишь, ты меня спрашивал, что такое туман – вот он, еще немного остался, стелется под кустами. «И под скамейками прячется!» – кричит Теплый. Подпрыгивает и вдруг смеется. Он вообще смешлив, ее мальчик.

С тополя мягко спархивает ворона, садится на клумбу, разрывает клювом землю. И снова Теплый замирает и шепчет птице: «Ты что-то нашла?» Но Тетя тянет его за руку. Он делает несколько шагов и снова встает. Мам, а как эти деревья называются? Она не знает, как эти. Тополя? Нет, это не тополя, зато вон там на пригорке, у детской площадки, где в узкий проем между забором и фонарным столбом ей удалось вчера втиснуть машину, растет одинокое дерево, видишь? Это клен. «Остролистый или сахарный?» – неутомимо уточняет Теплый. Большой любитель энциклопедий.

Под кленом улеглись две дворняги, пегая и черная, подружки дяди Вадима, их странного дворника в шапочке с шариком-помпоном, друга зверей и детей.

– Он здесь царь, да?

Теплый снова перестает двигаться.

Сы-нок.

Клен растет на краю детской площадки, ближе к гаражам, широкий, приземистый, «багряный», как сказала бы учительница из школы напротив. Но нет, это красная охра, глубокая, теплая, с отзвуками киновари. В красном светится медь.

Клен стоит неподвижно и вдруг вздрагивает, оживает, по листьям бежит быстрый ветер. Теплый потрясен.

– Горит!

В самом деле, сухое пламя с треском охватывает дерево, листья гудят и трепещут – неопалимый куст!

Собаки бесшумно поднимаются и мчатся прочь, за гаражи, в сторону школы. Ветер срывает листья, несет вверх, кажется, дерево стряхнет сейчас с корней шершавые земляные комья, рванет в сентябрьскую синьку с молоком. И снова Тетя чувствует: рядом. Вот-вот. Скоро все будет по-другому. Жмет на кнопочку сигнализации, слышит уютный «чмок». Они наконец трогаются.

Уже в дороге мальчик вспоминает: в сад нужно было принести листья, мы их вчера собрали, на репетицию осеннего праздника.

– Возвращаться не будем, – отрезает она. – Я и так опаздываю.

– И зонтик, – робко, уже без всякой надежды добавляет Теплый. – Зонтик тоже нужен.

– Зонтик вот.

Она протягивает ему назад корпоративный подарок на Восьмое марта – синий зонт с бронзовым вензелем – валяется под сиденьем давным-давно. Они мчатся по улице Вавилова. Пешеходы бегут на красный свет. «Задавить их?» Теплый ужасается, хотя шутка стара. «Просто библики им, мам, они убегут». Ехать совсем недалеко, шесть кварталов, двадцать минут пешком, двенадцать на трамвае, шесть на машине. Восемь – если красный свет.

В саду пахнет рисовой кашей с изюмом. Теплый здешних завтраков не уважает, ест дома, ему выдадут только какао. Тетя расстегивает верхнюю тугую пуговицу, снимает с него куртку, помогает стянуть штаны, распахивает деревянный шкафчик. Там Теплого преданно ждут истертые сандалии, только что пережившие длинное деревенское лето. Она вешает куртку в шкаф, неудачно, одежда срывается, из кармана выскользывает несколько каштанов.

Что это?

Но Теплый, как всегда во время раздевания-одевания, рассеян, страшно рассеян, ему не до застежек, не до каштанов. «Для коллекции», – роняет он и вновь погружается в думу.

Она достает сандалии, ставит перед ним, слегка тормозит его за плечо. Сын послушно наклоняется, застегивает их – это легко, они на липучках, за то и любимы, поднимает голову, смотрит на нее. «Мама, – произносит он задумчиво, – как ты считаешь, а слон... слон тяжелее бегемота?» – «Считаю, – мямлит она, ставя в шкафчик ботинки. – Да». – «А у бронтозавра в животе поместится крокодил?» – без паузы продолжает Теплый, и она бормочет, да нет, не уверена, возможно...

Мальчик готов к погружению – губы тыкаются в горячую, подстриженную макушку, пока! Он кивает ей головой: пока, мамочка. Сосредоточенно идет в группу. Там слоны и бронтозавры будут топтать его странный зоопарк, в котором живут черный дракон, анаконда, героический динозавр, а по утрам сладко пылают сахарные клены. Краем глаза она успевает заметить, как сын здоровается с Галиной Петровной. Здоровается он всегда одинаково – крепко обнимает крупную и, по счастью, добрую воспитательницу со словами: «Доброе утро, Галина Петровна!» Та никогда не возражает, не пытается увернуться. Возможно, все не так страшно.

Она поворачивает ключ зажигания, смотрит на черного мамонта. Мохнатый детеныш тихо качается под зеркалом, бивней у него еще неросло, вместо хвоста – обрывок шерстяной нитки. Тетя смастерила его два года назад из обрезков своей детской старенькой шапки, бабушка выдала ее для Теплого – ха. Но для игрушки в самый раз. Теплый зовет его Мам и каждый раз смеется своей шутке.

Она любила сына с нежностью и страхом материнского животного. Возможно, с дочкой все было бы иначе. Но дочери у нее не было, а Теплый, Темушкин, Тема, как вылез весь чумазенький в тихий зимний день ей на живот, как пополз, так сразу и раскинул ручки – обнял маму. И обнимал с тех пор всех мам на свете. Всех воспитательниц, всех девочек в детском саду, на детской площадке и в кружке по рисованию тоже, всех Тетиных подруг, их взрослых и не очень дочек, врачей в поликлинике, даже продавщиц в магазине. А если у них были еще и длинные волосы, тут уж ее мальчик млеет и совершенно теряет голову. Девочки убегали, взрослые гладили его в ответ по голове. Иногда целовали. Тетя смотрела, ей было неприятно, но пусть уж пользуются. Может, им не хватало, а Теплый грел. Теплый был не тепел, а горяч, в этом скрывался его секрет. Положишь на него руку, проведешь ладонью по голове, шее, плечу, схватишь за локоть, и мгновенно! ладонь согрета. В любой части Теплого было жарко.

Поэтому всем подряд он повторял: «Я тебя люблю».

Наверное, нужно было радоваться, что вот ведь живет на свете такой любвеобильный мальчик, но Тетя мучилась и не понимала. А может быть, он сам просит так о любви? Умоляет полюбить его еще, распахивая маленькое черно-драконье сердце. Но если они не смогут, не смогут соответствовать и однажды прогонят его навсегда? Она закрывала глаза. Или он строил из себя такую прочную крепость, в которой каждое «я тебя люблю» – кирпич? Думал, что спрячется, и мир его больше не тронет, простит и отпустит – за его любовь.

Многоэтажное стеклянное здание сглотнуло ее, не жуя, пустое лицо охранника даже не поглядело в вынутый из кармана пропуск.

Она втискивается в лифт, нажмите, пожалуйста, десятый. На табло выскакивает красный человечек. Перегрузка.

Нынешним летом в Петербург приведут слона, купленного бухарским ханом в Афганистане и посылаемого в дар высочайшему двору. Слон теперь зимует в Оренбурге и с весны отправится в Северную Пальмиру. Он еще дитя: ему всего 14 лет. Из Оренбурга пишут, что этому гостю каждодневно отпускается по пуду муки, 5 фунтов сахара и столько же сала. Из этого делают тесто, заменяющее слону сахарный тростник, составляющий любимую его пищу на родине. Он дошел до Оренбурга в башмаках, и в такой же обуви совершит и дальнейший путь.

Глава вторая

В тот же самый день, спустя полтора часа, проснулся Коля. С чувством беспричинного счастья. Ну, не счастья. Легкости. Глянул на часы – 9:20! Как сладко поспал, на работу опоздает, но сегодня можно – Крюк сказал поедет по клиентам, значит, до обеда свобода. Коля откинул одеяло, потерся-почесался затылком о подушку, босиком прошлепал на кухню, залитую солнечным светом. На столе лежали сыр, колбаса, хлеб. Вот и завтрак ему. Нормально. Пахло листьями, вот они в вазе. Осенью пахло, но тепло-то – чистое лето!

Он любил просыпаться один. Когда не надо вести Теплового в сад, в спешке одеваться, бриться, потом умыть-одевать сына, запихивать в него кашу, тащить скорей на трамвай – не надо ничего. Можно подтянуться с десятков раз на турнике, который сам сделал в коридоре, отжаться, потягать гантели – снова почувствовать мускулы и тело, послушное, крепкое, молодое.

После небольшой, но энергичной разминки Коля взмок, с наслаждением встал под душ. Всегда он любил воду, в любом виде – и когда сидел-смотрел на нее на рыбалке, и когда скользил по ней и носился.

Как же он был теперь благодарен Сереге – вот кто их вытянул, приобщил – прошлым летом все началось, в России про это вообще мало кто слышал, но Серега съездил на Гавайи. Вернулся загорелый, веселый, с громадным рюкзаком. В рюкзаке лежал кайт со всем снаряжением. А потом Серый подарил ему на день рождения такой же. Подарок был, конечно, царский, все-таки чересчур. «Да мне просто компания нужна!» – оправдывался Серега и снова говорил только о кайте, какой это кайф, реально чувствуешь ветер, щеголял словечками – «карвинговый поворот», «буст», «депауэр», и относительно понятное – «галс».

Первый раз поехали в том еще сентябре, в Египет, учиться. В голубой лагуне Серега уже гонял, правда, пока простенько, без прыжков. Коля начал брать уроки у Рутгарта, синеглазого голландца с красным обветренным лицом. Рутгарт выделял на воде такие штуки, от которых они с Серегой только беспомощно матюгались. По-русски Рутгарт не говорил. Ветер дул хороший, особенно к вечеру. Ideal! – радовался их новый голландский друг. Через неделю тренировок сушняком Коля первый раз вышел в море. Почти час плавал попой в воде, держа кайт над собой, учился создавать тягу и тормозить, несколько раз пытался подняться, но кайт упрямо падал в воду, один раз до искр в глазах больно ударился о доску локтем. Но в конце концов он сделал все верно. Направил доску вниз по ветру, дождался тяги и встал! Проскользил несколько метров, распрямился, тут доска начала тонуть, и снова он бултыхался в воде. Но теперь он понял, поймал. Нельзя забывать про тягу, и, поднявшись, надо не разевать рот, а сразу же управлять, ставить кайт по центру окна, ветрового. И снова он нащупал тягу, встал, поправился под ветер. И рванул. Помчался! Только довольный голос Рутгарта зазвенел в спину: Good job!

Коля несся по воде, лицом к морю, вспарывал доской ровную темную гладь. Брызги стелились розовой пеленой, красное солнце, придавленное пылающей тучей, скользило назад. Ветер уверенно и мягко тащил его странный парусник, крошечный парус, пестрый раскрашенный полумесяц. Он потянул на себя стропы, как учил Рутгарт, попробовал подняться над водой и действительно слегка приподнялся в воздух, пролетел. Спружинил на воду.

Ого-го-го! Помчался дальше, сел в воду, развернулся на сто восемьдесят, и опять все получилось. Тут-то и отпустило. Кончилось.

Кончилось все, что было вчера, пять лет тому назад и пять минут тоже. Не было синеглазого тренера, важничающего Сереги, отеля в прыгучих цветных огнях, загорелой девицы в кожаной куртке из бара, удушливых цветочных клумб, глупых щеточек пальм. Тем более не было Москвы и маленькой, знакомой каждой гримаской, зевком и изгибом тела женщины,

черноглазого мальчика, жилистого отца, мяклой, преданно глядящей в глаза матери. Не было никого.

Только два сливающихся простора за спиной. И он. На дно опускалась, плавно падала вся прежняя его, сраная жизнь. Все эти последние несколько лет.

Свадьба. Пьянки с ребятами. Галлоны выпитой водки, тонны восстановленных жестких дисков, дистрибутивы, бесперебойники, роутеры, километры натюканых чатов, вместе со скачущим в аське зеленым лягушонком, ряды смайликов в черных очках, отраженные вирусные атаки, закаченные софты, мягкие томики инструкций и руководств, все заброшенные в нужные места цветные шарики, лопнутые пузырьки, проворные гусеницы, колобки, проглоченные жуки, пойманные звездочки, разбомбленные города, расстрелянные в упор уродцы, все диски, все эти реки организованных звуков, которые он слушал.

Мир стал невинен, мир стал юн. Все пофиг. Перезагрузка с потерей всех сохраненных данных. Ничего-то он не знал больше, ничего не помнил. Только дышал, только мчался. Вода. Брызги. Солнце. И ветер, ветра хоть отбавляй.

Так он и подсел, похлеще Сереге. Потом поехали во Вьетнам, и Ашот с ними, в первый раз тогда, он правда сломал сдуру руку, но к Одессе поправился как раз. Для Одессы пришлось купить гидрокостюмы, вода была уже ледяная. К тому времени Коля понял, с какой силой надо затягивать ремни, как ходить против ветра, обзавелся четырехстропным кайтом, начал делать простые прыжки. Но вся эта гимнастика и сальто на воде вставляли даже не так, как просто то, что он мчался и чувствовал ветер. И всегда брызги той же, что и в первый раз, радости летели в лицо, грудь, наполняя счастливой пустотой полета.

Он уже ехал в лифте, мытый, бритый, с сумкой за спиной (в сумке – логитековская клавиатура, как и обещал Крюку), мечтал. В ноябре планировали с ребятами снова рвануть. На Крит летом, кстати, и не подумал взять кайт – нет, Крит был для семьи. Жене он про кайт особо не рассказывал, да не шибко она и интересовалась. Зато Тема просил его взять с собой... Подожди, Темыч, чуть-чуть еще подрасти, такую жизнь с тобой начнем.

В киоске он купил «МК», ехать было от «Академической» до «Рижской», но в метро сжали так, что читать не смог. Вот что значит выйти на час позже. Стал смотреть на девушек – одна напротив ничего, темные волосы разбросаны по плечам, овал лица нежный, аккуратный носик, глаза большие, подкрашены, веки в посверкивающих тенях. Уткнулась в какой-то цветной журналчик. Серебряная блестящая ветровка обтягивала грудь. Тонкие пальчики с розовым маникюром перевернули страницу. Скорее всего, девушка кой-чего уже повидала на своем недлинном веку. Коля понял это, когда вагон качнуло, и на несколько мгновений она оторвалась от журнала, подняла голову – в темных глазах мелькнули опытность, грусть. Да, вот с такой можно бы попробовать, не легкая, конечно, добыча, слишком для этого была ухожена, но все же ехала не на машине – в метро, и вид имела не особо счастливый.

Он подумал о Мотьке, так и звал ее, как она когда-то сама себя назвала в шутку – нет, сейчас на такую б не клюнул. А тогда, восемь лет назад, другой был период. Поступил в Москву, с трудом, чудом, проскочил еле-еле, по полупроходному, кто-то слился, и его взяли на освобожденное место, учился, жил в общежитии, и так хотелось дальше, вперед, по всем направлениям. Из серого мальчика с дальнего Подмоскovie стать здесь своим, умным, ловким Коляном, с правильной работой, не похабной девочкой, каких в их подмосковном городке, где он закончил школу, было навалом – нет уж, с совсем другой... Мотя сама приплыла в руки, сама нашла его. По объявлению. Он хорошо помнил, как пришел первый раз в ее облупленный дом чинить компьютер, пришел – и обалдел.

В крошечной двухкомнатной квартире с вытертым дочерна паркетом было бедно, сто лет без ремонта, но убрано, чисто, а главное дело – вдоль всех стен стояли шкафы с книгами. Даже в коридоре висели полки, тоже с книгами, забитые мертво! И сразу поморщился про себя: попал. К больно умным. Но поморщился все-таки с уважением. На хозяйку и не взглянул. Уселся за

стол, выслушал спиной, что «все виснет», начал разбираться, чистить ее довольно неплохую по тем временам, откуда-то из-за бугра привезенную машинку, поставил новый антивирус, кой-чего обновил, а в это время хозяйка – девчонка, как он понял, его примерно лет, говорила. Спрашивала мелочи, он отвечал. Разочек хохотнула, колокольчиком таким динь-динь, это он типа пошутил. Не особо лезла, но и не бросала одного. Что-то его зацепило. То ли свежесть ее. Оглянулся даже. Юбка широкая, темная, блузка с коротким рукавом, голубая, в синюю крапинку – и видно было, чистая, отглаженная, только что, что ли, надела, для него? Смайлик. Или вежливость ее? Нет, это была не такая вежливость, когда рвать охота от этих «пожалуйста, спасибо, будьте так любезны», таких шибко интеллигентных клиентов он встречал тоже, нет, тут другое. Не вежливость, потом уже, намного позже, когда услышал от кого-то это слово, понял, что вот про нее как раз это слово – деликатность. Она была деликатной. Во. Делала ему хорошо. Спокойно с ней было, как с собой почти, вот что. Когда закончил, позвала, конечно, пить чай. Он не удивился, так почему-то и знал, что позовет. Но у него было правило – с клиентами никаких чаев. Серега так научил: пустая трата времени. Пока пьешь с одним, теряешь другого.

А тут пошел дурак дураком пить чай этот ненужный, сел на стульчик деревянный и почувствовал собственный запашок – пота. В общаге третий день не было горячей воды. Разозлился, что думает про это. Но слегка отодвинулся назад. Она разливала в чашки заварку.

– Ой, я не спросила. Я вам с мятой заварила, ничего?

– Нормально. Я с мятой люблю.

Он не просто любил, он с мятой очень любил. Как-то, казалось, сил она прибавляет – освежает изнутри. Мать специально для него держала небольшую плантацию на огороде – сушила, каждый раз, когда он приезжал, заваривала, а эта... Угадала. Он снова поднял на нее глаза. Обычно на девушек он глядеть начинал снизу, как там с ногами, попойкой... А тут не смог. То есть ухватил, конечно, что она ничего, невысоконькая, но стройная, ноги что надо, и грудь тип-топ, но все это отметил так, на ходу, и уставился в лицо. Она как раз села напротив. Лицо белое, бледное. И в лице... что? Опять он не знал этому имени, ну, изюминка, что ли, или как это называют... В общем, нормальная девка, красивая даже, хотя нос немного курносый, и глаза – не понять какие, карие, что ли, с зеленью будто, а вот ноздри, маленькие, круглые, раз – и дернулись вместе с носом вверх. Это она улыбнулась. На щеке темная точка, а когда она улыбалась – точка вытягивалась в овал. Плюс шея – длинная, на календаре на стенке у них такие были бабы, только художника он забыл.

И губы, пухлые, детские. Открываются, что-то говорят. Да, по губам всегда можно было определить. Эти ничего не знали! Вообще-то против опытных девчонок он совсем не возражал, но сейчас ему понравились именно такие губы. Глупенькие. Он наконец понял, она его о чем-то спрашивает, кажется, уже второй раз. А... где учится. Сказал. На каком курсе? На четвертом. А она? Она – доучилась давным-давно! Кольнуло сейчас же, больно, шилом ржавым: старше! Давным-давно... И ударило, заколотило по мозгам: не годит-ся! Но он справился, не дал этой мысли развиться далеко – стоп, для чего не годится? На сколько старше? И переспросил сразу: давно закончила? Она снова улыбнулась: н у, вообще-то не очень, в прошлом году. Он выдохнул. Максимум года на два. Не особо, конечно, но терпимо. На столе лежали бутерброды с сыром, когда она их сделала – не заметил. Вспомнил, что с утра не ел, а сыра вообще давно уже не видел, исчез он куда-то, как и яйца, сглотнул и решил сурово – ни за что! Ни одного бутерброда. Нечего тут расслаживаться.

Она вдруг сказала: к чаю у меня только бутерброды. Взглянула на него совсем прямо, непонятно... И карие глаза поглубели вдруг, посветлели – от кофты, что ль? Коля взял и съел бутерброд. Потом еще. Она глядела на него с каким-то веселым и смешливым ужасом: вы голодны (да, именно так, не по-русски чуть-чуть, «голодны»!)... я пожарю картошку, я быстро. Ни-ни, – он чуть не поперхнулся, ни в коем случае... Хотел встать. И не смог. Размяк, блин,

по полной. Спросил, откуда комп. Мама с конференции привезла, из Америки! Профессорша одна подарила. Он прогнал телегу про Билла Гейтса, сегодня услышал от Ашота, она засмеялась. Свободно, звонко. Опять эт-та... динь-динь. Нормальные люди, когда смеялись, кхекали, харкали, икали, что ли, а эта... звенела. Динь. Читал, что ли, где-то, что бывает так, смех колокольчиком, а вот и услышал сам, хм. Стала рассказывать про школу. В школе она работала. Училка! Ли-те-ра-ту-ры! Н у, не умора? Терпеть он не мог всегда этого ускользящего, как дым, не ухватить, не словить, предмета. Ненавидел сочинения. И опять дернулось – не годится. Книжки эти, ну, куда ему? Не. А она ворковала свое, школа, мол, – это жизнь, но надолго там нельзя оставаться, законсервируешься, превратишься в Мариванну... И улыбалась опять. Немножко она смущалась, поэтому, что ль, улыбалась часто так?

Ваще как будто не знала правил. Что говорить с парнем наедине так открыто, улыбаться ему, дергать ноздрями, быть такой... нельзя. Он не знал, почему. Но подумал, что, может, никакая это и не открытость, а, как у детей, она не знает просто, что это значит, не понимает. И начал наконец собираться. Она не расстроилась ничуть, не задерживала – ничего. Ну и правильно, хватит. Но уже в коридоре как-то по-новому, очень кокетливо (знает, значит, кой-чего?) с ним заговорила. Мол, можно, я буду к вам еще обращаться. Может быть, обменяемся адресами электронной почты, у меня вот такой. И губы сложила капризно, в кружок. И тут он крякнул как-то странно, она не поняла, посмотрела вопросительно. А это он подавил рычанье, потому что этот кружок захотелось накрыть, быстро, властно накрыть ртом, сломать всю эту дурацкую дразнящую ее невинность, заткнуть сраный колокольчик и кофточку в крапинку расстегнуть, порвать, в грудь зарыться, мягкую, белую, свою... он почувствовал, как под джинсами предательски вырастает бугор. В чаду нацарапал адрес, схватил бумажку и выскочил к лифту. Спустился на полэтажа, прижался к ледяной грязной подъездной трубе жарким лбом. Выругался – грязно, длинно, в голос. Отлегло. Разжал кулаки. И тут же в панике чуть не заорал снова – где?! Где бумажка с ее адресом? Взлетел обратно на этаж – возле двери она валялась, смятый листок в клетку, вырванный из блокнота, поднял, адрес был. То есть попал реально. Сунул в задний карман джинсов, вызвал лифт, поехал.

В общем, так все и началось. Потом он про эту встречу часто вспоминал. Растревожило его как-то, раскрыло навстречу и повело. Она говорила. Знала слова. Он тоже их знал... в общем, что они значат, но не использовал никогда, а она использовала и да, умела разговаривать. Он вспоминал ее и думал: речка. Она – речка. Течет себе свободно. Ля-ля-ля. Но как-то не глупо. А он – пень.

В общаге он регулярно навещал Алку с третьего, но знал, что они даже не парочка, не ходили даже куда вместе, не – просто партнеры по бизнесу. Так Ашот выразился однажды, маладец. А клиентку свою Динь-динь Коля держал для души. Сначала писал ей письма, про компьютер всякую хрень, и подлинней старался, хотя не умел, но тут понял – слова, этой нужны слова! Потом стал звонить, потом гуляли в Нескучном, по Москве-реке на кораблике катались – тепло было, дремотно так, лето. На речку она повела, жила там недалеко, и нормально проехали, последний раз с отцом катался, еще пацаном. И такой красивой показалась Москва. Потом сходили разок в кино, там он немного себе позволил. Она дернулась, огорчилась, даже всхлипнула: не надо! Обидно стало, конечно. Недотрогу строит. Сколько он и так уже терпел, ведь все время, все время ее хотел, домой возвращался, и... Но, когда остыл, решил подождать. Как-то понял – лучше пока с Алкой или даже одному, а с этой не надо, она не строит, боится просто, понятно же все. Но все будет еще, так что мало не покажется, надо только еще погодить. И когда в поход тот пошли, вообще не коснулся ее. Хотя рядом спали в спальнях мешках! И никому, конечно, не рассказал, что ходил-то не один, с девкой и оставил ее целкой. Не поняли б все равно, а он понял... Времени было по горло, вот какое чувство тогда было – впереди полным-полно времени. И еще чувствовал: она за это благодарна ему, благодарна, что он ждет и не торопит, и ее благодарность дороже всего.

Его затягивало медленно, затягивало в нее. Тогда, той весной и летом, он не мог найти в ней ни одного недостатка. И только матерился ласково, когда уходил от нее – потому что осознал наконец: по уши он в училку влюбился. И не просто влюбился, как уже было раз на первом курсе, сильнее захватило, так – что не просто трахать, жить с ней хотелось. Всегда. Хоть понимал, его родные, особенно отец, вряд ли ее признают – не своя. Совсем! А он не смог бы объяснить, что это-то и влечет. Что чужая – это снаружи, зато внутри – своя. А вместе с тем давала книжки ему почитать, пригласила пару раз – хе! в консерваторию (и про это никому из ребят не рассказал, а матери похвастался, и она уважительно покачала головой). Но, главное дело, музыка оказалась местами отличная вполне, забирала, плакать хотелось. Или, может, выть. Она потом ему еще рассказывала долго, кто это написал все и как он жил, – совершенно ничего не запомнил, если честно. Но не было ему ничуть обидно, что она училка, даже с ним, а он ученик. Он понимал: это снаружи, а так-то – дите. Беззащитное. С ротиком-кружком.

Через полгода дала себя наконец поцеловать. У подъезда вечером, он ее провожал. Только что прошел снег, лежал пушисто, рассыпчато на лавке возле подъезда, на деревьях, машинах.

На вкус она оказалась мятной, прохладной. И как будто другим человеком совсем, чем когда просто общались. Оказалась своей. Именно что. Как он и догадывался раньше. Мягкая, родная, своя баба. Через несколько дней, когда опять встретились, попытался пойти дальше и получил спокойный отпор. Спросил, почему. Сказала – я старомодная, прости. Тогда сказал – пойдешь за меня? Она ответила – надо подумать, то ли в шутку, то ли всерьез, не понял он даже, но через полчаса, когда говорили уже о чем-то другом, и он был, если честно, в обломе глубококом, думал уже слинять скорей, через полчаса вдруг обвила его за шею руками, крепко – опять, как маленькая, неудобно даже, хоть и не видел никто, выдохнула ему в ухо: я согласная. Так, по-деревенски, ответила. Он сразу страшно испугался. Затопила жуть и нежность, самому захотелось реветь, он покрыл ее лицо поцелуями, а потом шею, руки. Расстегнул наконец кофточку – гладил, гладил ей грудь. Тут уж разрешила, а дальше опять нет. Это было у нее дома. На скромном мамином диване, покрытом пестрым покрывалом. И в тот же вечер Алка получила от ворот поворот. Пережила спокойно, он ведь и причину назвал – только усмехнулась недобро: ну-ну, жаних! Зубки не сломай. Как в воду глядела.

Отцу, как он и предполагал, училка его не понравилась. Хотя отец ему этого не сказал. На прямой вопрос после знакомства, обеда невыносимого, длинного, маманя расстаралась, смолчал, пожал плечами: да какая-то она... Не договорил. Смотри, сын, решать, конечно, тебе. И жить тоже. Добавил еще про жить. А мать обрадовалась, понравилась ей и Динь-Динь, и особенно то, что у сына как у людей наконец-то; старшая-то Колькина сестра, Варька, засиделась в девках. Так что мать обрадовалась. Сказала обычное – вот хоть внуков понянчу, бог даст.

Но потом, в следующие еще перед свадьбой встречи, училка и отца немного смягчила, называла его по имени-отчеству, просто, тихо, но без навязчивости расспрашивала про его шины. И хотя – Коля видел – отец уверен был, не с бабами обсуждать мужские дела – как миленький говорил с ней и про шины, и про резину, и воров, а она, не будь дура, отвечала ему разумно, по делу, но и не переборщила ничуть и ни с чем, поскольку это и умела лучше всего. Чтобы все в меру.

* * *

Он приехал на работу, в комнате уже сидели ребята, Ашот сразу позвал покурить, Коля пошел, хотя курить бросил – кайт требовал дышалки! Но иногда стоял в коридорчике с Ашотом, работал скорпомощью. Ашот по утрам часто был в дурном расположении духа: жил он весело, домой возвращался засветло, спал по несколько часов, и следы буйной ночи в начале рабочего дня еще лежали на смуглом лице, лице страдальца. Чтоб поднять настроение, утро

Ашот начинал с сайта «анекдот.ру» и тут же делился прочитанным. Коля уже готов был к новой дозе народного юмора. Впрочем, анекдот случился на самом деле. Лидочка из финансов написала Ашоту по корпоративной почте письмо, которое он не так понял... В истории фигурировало слово «задержка», «бумага» и прочие штучки вполне в ашотовском духе, как, впрочем, и в духе его любимых сайтов. Все кончилось благополучно, Ашот и Лидочка долго смеялись, Коля тоже усмехнулся разок для приличия, и тут зазвонил мобильник. Высветилась буква «ж» – жена. Коля нажал на кнопку.

– Ты проснулся?

– Угу.

– На работе?

– Да. Занят.

– Я быстро! Помнишь, мы на Крите нашли такой ржавый колокольчик для коровы. Мы его взяли в Москву?

– Не помню. Слушай...

– Но ты хотел его еще от ржавчины очистить, помнишь? Сказал, матери подарить, сувенир, забыл?

– Нет, не забыл, но не помню, куда дел. Может, дома где.

– Поищешь тогда?

– Ага.

– Ну, пока.

Коля отрубился. Колокольчик он, конечно, тогда так и не взял с собой, выбросил на следующий же день, грязный он был какой-то. Чем она только на работе занимается? Вернулись с Ашотом в комнату, Коля включился, улыбнулся приветствию, гласившему: «Ну что, Колян? Цзянь сян ай, цзяо сян ли!»¹, порадовался заставке – два бородатых китайца летели на деревянном соколе по голубому небу. Он сам слепил эту заставку из подручных средств и очень ею гордился. Китайцами были Мо Цзы и его ученик Гоншу Ван, изобретатели пракайта.

Мо Цзы сделал из бамбука деревянного сокола, которого заставил подняться в небо. Правда, пролетев немного, сокол упал и раскололся. Гоншу Ван продолжил дело учителя, а поскольку был профессиональным плотником, догадался расщепить бамбук на тонкие полоски и высушить над огнем. От этого его сокол получился легче, прочнее. И смелее, конечно. Продержался в небе три дня.

Если бы не кайт, Коля и знать бы не знал ни про Мо Цзы, ни про Гоншу Вана, но тут начал читать иногда афоризмы Мо Цзы, вывешенные в Сети, и все собирался познакомиться с единственным его трактатом, который, правда, написал не он сам, а ученики, записавшие мысли учителя.

Коля дождался полной загрузки. Давным-давно ацстойные «корзина», «мой компьютер», «мои документы», «рабочий стол» и прочие ярлычки он сменил на собственные варианты – «мусоропровод», «не твои документы», «старые бумажки», «окружение», «парта». Это тоже повышало настроение. Его вообще это заводило, власть человека над машиной, Windows-ами, и нравилось делиться маленькими хитростями с неразумным народом. Хотя на работе делиться особо не получалось – выходило только спасать. Им звонили зачморенные пользователи из их же компании, чаще стонали, иногда орали. Самых наглых приходилось осаживать, и уж только после назидания и брошенной трубки, в ответ на мольбы, обнаруживать стертые файлы, поднимать упавшую систему, восстанавливать пароли. С особами женского пола Коля разговаривал серьезно и покровительственно, с мужиками – по-свойски и быстро переходил на «ты». За десять почти лет работы он разбирался в этих железках и программах только так.

¹ «Всеобщая любовь и взаимная выгода» – лозунг Мо Цзы (478 – 392 до н.э.) и его последователей.

В какой-то момент, когда стало распырывать от собственных знаний, Коля завел блог, специально чтоб давать советы юзерам. Начинающим сисадминам заодно. Юзеры и братья по ремеслу с благодарностью его советами пользовались, тоже меняли себе ярлычки, выгоняли вирусы без всяких Касперских, сбрасывали балласт ненужной фигни, оптимизировали загрузку, защищались от хакеров и зачарованно давали ссылки на его блог.

Через полгода он стал тысячным, получил пару нехилых предложений от рекламщиков – и отказался. Неинтересно уже стало. Как-то не до того, особенно в последнее время – из-за кайта, что ли. И всю свою просветительскую деятельность Коля потихоньку забросил. Вопреки прежним правилам (ни о чем, кроме железа, не писать) вывесил несколько фоток с собой на кайте. Ничего, многим понравилось, народ слал восхищенные комменты, особенно, конечно, девчонки. Red Girl, сисадминша, которую он разика два реально спас, предложила сменить квалификацию и теперь обучать всех по Нету премудростям кайтовождения. Она шутила, но Коля задумался об этом всерьез, даже стал собирать кой-какую инфу – по истории кайта и всяким новинкам. Тоже начал потихоньку вывешивать, пока в прежний блог.

Позвонили из бухгалтерии, опять глючила написанная им же с месяц тому назад программа. Бухгалтерша говорила виновато и вместе с тем требовательно. Рабочий день начался. Сходил, все поправил, потом дернуло начальство, долго возился у нового гендиректора с почтой, обминал под него, потом сходили с ребятами в столовку, потом выложил в блоге фильм про выбор кайта, ближе к вечеру мобильный зажуужал незнакомым номером. Заказ на книжку оставляли? А он и забыл. Оставлял, оставлял на каком-то букинистическом книжном сайте, и вот вам, пожалуйста. Вы где находитесь? В районе «Рижской». В течение часа можем доставить. Коротко стриженный паренек в спортивной курточке, хилого и синюшного вида, оказался на их проходной действительно через час, не глядя в глаза, протянул книжку в прозрачном целлофане, взял деньги, велел расписаться и был таков.

Коля развернул книжку уже в лифте. Темно-зеленая обложка, золотые листики ободком, желтые ломкие страницы, год издания совсем древний, он тогда и не родился еще, открыл оглавление. Мо Цзы.

Решил почитать на месте, но Крюк погнал к двум новым сотрудникам в потребе – прописывать их в системе, только вернулся – аська молила скорей подняться к заму главного – у того что-то случилось с виндой, потом у терапевтши, приходившей к ним раз в неделю неясно зачем, не печатал принтер, а в комнате, кроме него, снова никого... В полшестого все наконец стихло. Ашот свинтил, как обычно, первым, Алик с Ромой – за ним, Крюк, часто засиживавшийся допоздна, куда-то вышел и пока не возвращался. Коля забирал сегодня Тему, в сад нужно было кровь из носу попасть до семи, но это значит, что полчаса у него еще было. И он открыл наконец книгу.

Глава третья

Первой Тетя взяла явно уже залежавшуюся заметку с говорящим названием «По осени считают» – про допинг-тесты и пересмотр результатов отшумевшей чуть не месяц назад Олимпиады – по всему получалось, что теперь России могла достаться еще медалька. С утра работалось легче, и она не тянула, как все, не шла за водой, не грела чайник, не пила растворимый кофе, не проверяла почту. Зажмурясь – бултых – и сразу две-три заметки, на свежую голову, пока тихо, пока соображаешь, а вот потом можно и выдох, и перерыв. Следующей упала новость про награду мемориальщиков, скука смертная, зато почти без ошибок, знала она эту Марию Тихонову – тихонькую, как ее фамилия, и тексты, с правильными запятыми, прочла за десять минут. Болталось что-то и про Беслан, но нет. Только не это. Хотя Лена столько раз ей повторяла в ответ на вой и подвывы: «Не вдумывайся. Не вдумывайся никогда». Поднимала глаза, поправляла седоватую челку, усмехалась: «Зачем тебе смысл? Отдели, отслои ты его от орфографии, двоеточий и выкинь. Если что-то останется вообще».

Тетя любила Лену. Громогласная, с диссидентским прошлым, теперь с той же самоотверженностью, с какой когда-то печатала Хроники, Лена несла на своих плечах в те же далекие героические годы встреченного мужа-алкоголика (художника, само собой), сына, недавно закончившего философский, но по самоощущению – поэта, больного папу. Работала за пятерых, и все для своих мальчиков. Впрочем, и девочек не забывала – стояла за их корректорскую горой, начальству в обиду не давала никого, только себе, если что, позволяла быть строгой. Лена превосходно знала правила, чувствовала язык, даром что математик. И повторяла: «Это всего лишь работа. Не вдумывайся».

Но Тетя любила не только Лену, Тетя любила слова.

Когда-то ее научили: у слов есть летучее акустическое тело, грамматическая оболочка из приставок-суффиксов-окончаний и сложенный из этого и много чего другого смысл, сердце смысла, стук-стук.

В паузах между ударами можно было различить скрип камешков санскрита, желтую песчаную мелодию индоевропейских ветров, нервный колотез настоящего и близкое будущее тоже, отблескивающее в Тетином сознании металлически-голубым. Но и это было только начало, от каждого слова тянулись антенны, росли еле различимые усики, которыми оно связывалось с соседями по предложению, тексту, книге, эпохе, веку, подавая собственные позывные, подхватывая, расшифровывая чужие. И лишь в точке пересечения этих сигналов, отзвуков, в тонкой невидимой дрожи слово обретало смысл, хотя тоже не окончательный, переменчивый, зависящий от климата и сегодняшней погоды. Примерно это она говорила детям на уроках русского языка. Они радовались, им нравилось, что у каждого слова – живое тело, напоминающее космический кораблик.

Но, придя в газету, сидя за своим компьютером под календарем с видами Москвы, Тетя обнаружила: люди, которые сочиняют газетные заметки, ведать не ведают о языковой вселенной. Черным-черны, пустым-пусты их слова. И надуты. Вместо ветвящихся, текущих по небу деревьев – мертвый хворост, неопрятные кучи. Эти слова не били ядром смысла в сознание, напротив, старались этот смысл замаскировать, увести от него, исполняя расхлябанный и брезгливый по отношению к читателю танец. Танец разболтанных жирдяев. Студенисто подрагивали поверхностями. Кривлялись, корчили рожи, пукали, испражнялись, ржали. Голова заполнялась болью. Дурно делалось от приблизительности всех этих предложений, размытости мысли, обилия лишних слов, груд речевых и грамматических ошибок, описок, опечаток – уродливых деток вечной журналистской спешки. И ладно бы это были просто удвоенные буквы или абракадабра, напечатанная случайно сбившейся рукой. Нет, каждая вторая опечатка придавала слову новое значение – как правило, непристойное.

Тетя начала неравную борьбу. С разрешения Лены записывала и регулярно отсылала на корпоративную почту списки ошибок. Многие поначалу не верили. Кричали: не может быть!

«Набережные Члены», «северсраль», «кодекс чести пивоворов», бесконечные «зарытые дела» и «бля» вместо «для», «благотравительность», «органы сласти».

Да ладно уж, хватит! Но все только начиналось.

«Задолженность компании за тело превысила 2 миллиарда». «Владимир Путин больше часа провел наедине со спортсменами на татами». «Хамминистра не начинал засидания, в результате все-таки начавшееся с попозданием на полтора часа».

«Предпринимателя N опустили под подписку о невыезде». «Протокол оказался подписан...» «Рабочие суда простояли в порту более суток». «Сумма заеба не оправдала и привела к скромным результатам». «Партнеры так и не желали проблевать эмбарго». «Принятие закона проходило гадко». «Замеситель директора не отвечал на звонки».

В их редакции работали исключительно маньяки.

Первую неделю Тетю мучили кошмары. После многочасовой читки она уже не понимала, что там написано, отрывалась от текста, клала голову на руки, закрывала глаза. Буквы-козявки на больших листах мокли, раздувались, слипались в стаю. Топкими, густыми волнами, грозя поглотить, погрузить душу в свое чрево – мерзкое, зловонное, пустое. Не хочу! – глупенькая, да кто ж тебя спрашивает? Из всех сил, но, как водится в снах, все же страшно медленно Тетя бежала, картинно вытянув руки – протягивая их к невидимому белому свету. Дышали в затылок, наступали – шмякались на голову, заливали глаза, текли ледяным грязным потоком за воротник по спине, груди, по поверхности бессмертной ее души – тяжело, пачкая на своем пути ступеньки и переходы, перекрытия и стены.

Мазут чужого пустословья, вранья, липкое синтетическое варево из слов-двойников, сплетенных из слюней и взвинченности, напитка Energizer и нереализованных амбиций. Вонючая жижа не просто оседала в ней, она ее отравляла, меняла, делала хуже. Тетя темнела изнутри. Оставалось только запеть ослом – и я, и я, и а, Ио, которой не спастись от знойного жала.

Но вздрагивали жалюзи, поднимался ветер, приносил полглотка холодка.

«Из Калькутты телеграфируют».

«Из Неаполя сообщают».

«20 марта на Серпуховской пл. задержали какого-то человека».

«На театре военных действий наступило затишье».

«В Балтийском море потерпела аварию финляндская парусная шкуна, шедшая с грузом гранита».

«Над Москвой пронеслась буря, которая немало попортила деревьев в фруктовых садах, на бульварах, в Анненгофской роще, Петровско-Разумовском и на Воробьевых горах».

Их главный любил старину, Дима-студент, из их же брата (сестры) корректора, за прибавку регулярно привозил из Химок, газетного зала, новые порции трогательных новостей, объявлений, происшествий и телеграмм – из дореволюционных газет.

Но тексты эти были слишком маленькие, повеют и растворятся, и снова жаркая слизь, вязкая духота. Уйти из газеты, уйти, – повторяла она, ускоряя шаг, дожить до первой зарплаты – и!

Как вдруг она добежала. Через три недели после начала службы. Однажды, уже завыв свою жуткую песню, Мотя ощутила приятную прохладу, мокрую накатившую свежесть. Другую, не из старых газет. Она провела по глазам рукой, поморгала. Свежесть не уходила, только росла.

В этом тексте все слова стояли на месте. Не мельтешили.

Здоровые мужики в тяжелых ботинках, вязаных шерстяных шапках на затылках топали по корректорской меж столов. Обветренные рожи, из-под толстых курток спускаются красные клешни, натренированные на одно только дело. Тащить сеть. Было сказано несколько слов и про их жен, каждая тридцать лет и три года, затемно прощаясь с мужем, не знала, вернется ли он домой. Потому что никакие метеосводки не предскажут Океана. Так и было написано с большой буквы, Тетя не исправила.

Из-за спин мужиков выступили исполинские деревья – сосны. Уткнув острые затылки в холодное, омытое голубым небо аляскинской Ситки, они сливались в бесконечные сумрачные леса, по краям которых росли из земли древние деревянные тотемы, глядели слепо на каменный брег, на котором всегда дует ветер.

Ветер в заметке дул так сильно, что волосы у Тети зашевелились, она подняла глаза, прочитала фамилию автора. Михаил Ланин. Кто сей? Спросила на всю комнату. Корректорши засвирители. Ты что?! Ты правда не знаешь?

Наташа, полная блондинка с блестящими серыми глазами, заговорила громче всех.

Да знаешь наверняка. Он еще передачу ведет по телеку, каждую субботу, «Вечный праздник». Классная, ты что? В прошлый раз про помидоры показывал, как ими кидаются все, забыла название города, неужели не смотрела никогда? Ну, послезавтра посмотри, в двенадцать тридцать. У нас он замглавного, большой человек, главный перед ним хвостом виляет, плюс колонка по пятницам про путешествия. На работу он, конечно, не так уж часто – но если в Москве, старается. И в корректорскую к нам заглядывает, эффектный такой мужчина, увидишь как-нибудь. Все бабы – его. Хотя на работе ни-ни, – хихикнула Наташа напоследок.

Мотя выслушала, покивала, сейчас же прогуглила Михаила Львовича Ланина вдоль и поперек, но узнала немного: 1954 года рождения, окончил Институт стран Азии и Африки, в молодости занимался наукой – исследовал поэзию эпохи Сун (Тетя плохо представляла себе, что это), переводил китайских поэтов, в перестроечные годы занялся журналистикой, по очереди служил в международных отделах двух больших газет, но потом оставил и политику. Сейчас – профессиональный путешественник. Известный телеведущий.

Негусто. И вроде как на понижение шел. Хотя тут, конечно, как посмотреть... Нет, тексты рассказывали о нем намного больше. Постепенно она прочитала все, что нашла в их газетном архиве. И расстроилась, когда запас иссяк. Хотя и сама не понимала, что ее так задело.

Безупречно-чистый, точно свежeweымытая сорочка, русский язык? – само собой, но мало, мало! Или, может, еще то, что все это были никакие не путевые заметки, а любовные письма на самом деле – Михаил Львович влюблялся во всех, про кого писал. В танцующих на пляже девочек-гаитянок, в бормочущих неясные ночные песни танзанийских крокодилов, в кошку с котятками, игравших в тенике громадного средневекового собора. В ново-орлеанского уличного музыканта – и вся колонка была посвящена ему, бьющему барабанными палочками по белым пластмассовым ведрам черному парню в подтяжках, шляпе, разевающему в такт розовый рот. Но и этого быстрого портрета было довольно, чтобы разбитной, расслабленный, сочащийся джазом, виски, ароматом острого, обжигающего небо супа джамбалайя Новый Орлеан, город-саксофон, запел, занял в сердце. И растворился в сыроватом укромном сквере в Буэнос-Айресе, где Ланину, усевшемуся под сиреневым деревом жакаранда, подали говяжий стейк ошеломительного вкуса, а юная темноокая официантка вдруг рассказала толстому русскому посетителю о своей прабабке, эмигрировавшей сюда из революционной России, откуда-то с Черного моря, Odess?

Его колонка о «метафоре времени», «ожившей старости человечества», мрачной гигантской черепахе, которую он разглядывал с фонариком у острова Изабелла, скреб перочинным ножиком покрытый темным мхом панцирь-щит, разлетелась по всем туристическим сайтам, блогам, вызвав на форумах кучу откликов... Казалось бы, что их читателям (чиновникам, менеджерам среднего звена) эта черепаха? И что она ей?

Нет, тут не черепаха, не котята, не жакаранда, и даже не эта порхающая из текста в текст влюбленность, тут другое... Сквозь все эти рассказы в окошечко «о», растянутого заводным орлеанским музыкантом, в черный выбитый ромбик соборного витража дуло что-то еще. Она распечатала самые лучшие колонки и дала маме: «Почитай, интересно, что скажешь...» Газет мама не читала, но с тех пор, как Мотя начала здесь работать, просила ее оставлять самое-самое. Тетя изредка сохраняла, вырезала – интервью с Ахмадулиной, с Любимовым, Табаковым, статью о провинциальных библиотеках... А тут выдала маме целую стопку листов.

Мама позвонила в тот же вечер:

– Все прочитала за один присест, Мариночка, превосходно! Хотя я ведь всегда недолюбливала травелогги, лучше один раз увидеть... Но тут... остановиться не могла! Какой язык, и живо очень, ты согласна?

– Конечно, мам, только не пойму, чем он все-таки берет? Ну, экзотика, но не в ней же одной дело, чем?

– Он? – мама задумалась на миг, но тут же заговорила дальше: – Да он поэт. Поэт! Во всем видит красоту, понимает значительность каждой мелочи, встречи, мимолетной даже. Он в этом поверхностном жанре оказывается глубоким, как раз поэтому – это такая лирика в прозе. Все, я теперь его поклонница, у него не бывает встреч с читателями?

– Не знаю! – засмеялась Тетя, мама была неисправима, любила эти встречи смешные, ходила на них в библиотеки и даже в клуб «ОГИ»...

– Хорошо, скажи, если узнаешь, – торопилась закончить мать, – а я вот что тебе еще скажу про него. Ты не смейся только, мне тут Ольга Петровна с работы, помнишь ее, пожилая такая с кудряшками, так вот, Ольга Петровна мне дала почитать одну книгу – «Псалтырь» и дальше, во второй части переложения наших поэтов – красиво очень, но первоисточник все-таки лучше... Я же не читала никогда, а тут зачиталась, хотя сложновато бывает, но какая поэзия и сила! И рассказы эти или как там... колонки чем-то похожи.

– На что?

– Говорю ж тебе, на Псалтырь! Сейчас, погоди... – мама зашуршала книжкой, – вот: «... там птички совьют гнезда, жилище аиста возвышается над ними. Горы высокие – оленям, скала – убежище зайцам».

– Да чем это похоже, мама? Это кто?

– Повторяю, это пророк Давид, псалом 103 в русском переводе.

– И что похожего?

– Как что? Давид – тоже поэт! Неужели ты не слышишь? – мама всегда считала, что уж на что, на что, а на поэзию слух у нее тонкий. – Этот автор твой, как его? Ланин, да, тоже мир в первобытность его возвращает, пишет объемно, но просто... и все время славит, славит Господа и творение Его, как тут сказано...

– Ну, мама... Ну, ты даешь!

Тетя хотела возразить, что, скорее-то всего, Ланин вообще ни в какого Бога не верует, значит, и славить Его никак не может! Но замолчала, прикусила язык, мама не любила, когда ей возражали, тем более если речь шла о Поэзии (это слово мама всегда произносила чуть нараспев)... И Тетя оборвала себя.

Но колонки ланинские старалась с тех пор брать первой. Нечитанный никем текст имел другую энергетику. Читала и видела: в одном мама права совершенно точно. Поэт! Пусть не

Бога он славил, а людей и жизнь, жизнь гогочущую, во всех ее проявлениях и формах – все равно.

Так Тетя и осталась здесь до Нового года, а потом до весны, календарные пейзажи над ее головой незаметно менялись, красный квадратик полз и полз по числам вперед.

В одну из суббот она даже включила телик. Полный, пышно-кудрявый бородач, в общем похожий на газетную фотку в колонке – хотя в жизни скулы выдавались сильнее и в глазах жила большая раскосость. В передаче Ланин рассказывал про перегон овец, сначала спокойно, у фонтана городка с коротким названием Ди, но потом уже орал в микрофон – распаренный, красный, нумерованные овцы бурлили за его спиной оглушительной блеющей рекой, вжимали прохожих в стены, покрытые темно-зеленым плющом. Одна овечка остановилась рядом, он к ней обернулся, потрепал по спине. Вся ладонь ушла в густую бежевую шерсть, капли пота сверкали на лбу, кудри намокли. Она почувствовала, что подглядывает, и аккуратно нажала кнопку на пульте. Нет уж, пусть явится сам.

Он явился только в начале лета. По привычке Тетя взяла его колонку, как всегда править было нечего: ни помарочки, ни ошибки – но в самом конце предложение внезапно обрывалось на полуслове, Ланин что-то случайно стер или не дописал. В таких случаях корректоры обязаны были звонить авторам. Замирая, Тетя набрала его внутренний номер. Он сейчас же взял трубку. «Только я не в кабинете, хожу по редакции, сейчас я к вам подойду». И пришел через несколько минут.

Легко внес в корректорскую свое большое тело, поздоровался со всеми, пошутил с Леной, сам засмеялся собственной шутке, свободно откинув большую голову – густые пряди так и взлетели. Кто-то мне тут звонил... Тетя помахала ему рукой. Повернулся к ней, поглядел: светло-карие глубоко посаженные глаза, небольшие, зоркие и веселые, крупный широкий нос с горбинкой, аккуратно вылепленные губы. Некрасивый, но так и тянет к нему... Он уже стоял рядом. Да сколько этому человеку лет? Молодое, что-то необъяснимо молодое и резвое сквозило в его облике. Склонился над текстом, чуть сдвинул брови, усмехнулся: «Я не тот вариант вам прислал». Быстро продиктовал недостающее, улыбнулся по-человечески, не как начальник. Поблагодарил за бдительность, щедро попрощался со всеми сразу, окинув корректорскую широким взглядом, Лене поклонился особым поклоном. И так же легко, мягко вышел.

Наташа тут же затараторила: Шармер, а? Ну, как он тебе?

Господи, как?! Да понравился. Очень. Но Тетя только молча улыбалась, мычала: «А что? Вроде симпатичный».

– Жаль, для нас с тобой староват, не годится! – прыснула Наташа.

Не годится, Наташа права – староват и высоковат. Слишком далеко плавала его планета. Слишком высоко. Хотя и на самом деле Тетя была ему по плечо.

Ничего не изменилось и после того, как в конце июня Тетя стала Лениным замом, две недели, пока Лена была в отпуске, заменяла ее на планерках и глядела со скуки в знакомый затылок. Это было одно из немногих развлечений. И редких – затылок часто отсутствовал. Тетя сидела во втором ряду, прячась за спины, устало слушая, как несчастную их газету сравнивают с другими, обычно отключалась на слове «просос» и погружалась в знакомый густой каштановый лес. В глубине леса угадывалась круглая голова со слегка оттопыренными ушами. Пряди красиво спускались на воротник рубашки (неизменно свежей), потом начинался вельветовый пиджак. Несколько раз она эту голову мысленно брила. Получалось кругло, ушасто, упрямо. Затылок все равно оказывался крепок, мужествен. Но и беззащитен – большой младенец. Другая игра состояла в том, чтобы по затылку и мелким едва уловимым движениям угадать настроение хозяина – а в конце планерки, быстро скользнув взглядом по ланинскому лицу, понять: ошиблась? Нет? В последнее время Тетя почти не ошибалась. Но они по-прежнему не соприкасались. До самого августа, когда она чуть не накричала на него...

Вернулась из отпуска, с проклятого острова, на который еле-еле вытащила Колю. Коля всю дорогу сидел в их номере с выбеленными стенами и играл в «Цивилизацию», последняя версия, часами. Жал пальцами на клавиши, отрывал виноградины, щелкал ими во рту – до того они были крупные и крепкие. На экскурсии с ней ездил Теплый – во дворец царя Миноса, археологический музей в Ираклионе, рассматривал глиняные фигурки быков и грациозных лисичек, хоровод танцующих девушек. Спрашивал ее. Теплый был главный ее друг. И Колин тоже.

Коля научил Теплового держаться на воде, даже плавать немного, купил себе и ему маски. Они ловили крабиков в стороне от пляжа, у высоких черных камней, искали на дне морском камешки с иероглифами, которые начертили море и время. С Теплым Коля хотел и рад был быть. А с ней нет.

Как-то ночью, проснувшись, выключила кондиционер, надоел этот шум до смерти! – распахнула окно настежь, лежала и дышала живым воздухом, морем. Утром подоконник раскрасила россыпь продолговатых темно-сиреневых лепестков – у окна номера росло дерево, оно-то и цвело ничем не пахнущими сиреневыми цветами. Это Колина любовь вот так же опала. Или ее?

Вернувшись из отпуска, Тетя обнаружила, что многие еще гуляют, Лена тоже взяла себе несколько дней. В редакции было пустынно, в корректорскую только в одиннадцать явился запыхавшийся Дима. Она включила компьютер, открыла систему и сразу же увидела недавно сброшенный в нее файл – очередная колонка Ланина. Назывался файл: «Крит».

Значит, он был где-то совсем рядом, пока окончательно рушилась ее семейная жизнь... Тетя открыла текст, но никак не могла вчитаться, перечитала несколько раз, пока не начал проклевываться смысл:

«...преследовал легкий, настойчивый звон. Он плыл откуда-то сверху. Будто листья смокв стали металлическими, и, ударяясь друг о друга, звенели. Машина карабкалась все выше, страшно было оторвать взгляд от узкой, петляющей дороги. Я переключил передачу на первую скорость, открыл окна, здесь и без кондиционера веяло прохладой. Нежный звон по-прежнему стоял в ушах. На верхушке горы уже показались домики нужной нам горной деревушки. “Смотри!” – сказал Рикардо. Неподалеку от нас, на подъем выше, на тенистой каменной площадке жалось стадо бурых овец. Они-то и звенели тихонько. Ветер шевелил колокольцы на овечьих шеях».

Тетя оторвалась от текста. Фальшь. На шеях овец не колокольцы, а ббтала! Теплый нашел такое, когда они отправились гулять в соседнюю с гостиницей деревню – ржавое, грубое, грязное, мягое чуть-чуть. Никаких колокольцев. И вообще Крит не такой, Крит – сиреневый, злой остров, нелюбимых там пожирает Минотавр, но про это, про самое главное – ни слова! И почему ей чудился в его статейках ветер? Здесь не было никакого ветра, только душная ложь. И что это за «преследовал настойчивый звон»? Или – или. Или преследовал, или настойчивый. И то не мог оторвать глаз, то все-таки оторвал. И если уж на верхушке горы деревня – понятно, что она горная! Да и вообще, что это за верхушки-деревушки?

Она набрала его номер, выпалила ему про два масла масляных, почти не сдерживая возмущения, Ланин ответил мягко, не опускаясь до дискуссии: «Я вас понял, оставьте, как есть». Она не унималась (Лена могла бы ее остановить, но не было Лены!): «И еще, извините меня, пожалуйста, Михаил Львович, но у овец на шеях не колокольчики, а ббтала, грубые, большие, и ничего они не нежно звенят, а глухо и тяжело звякают!»

Он словно что-то почувствовал, сказал: «Я сейчас спущусь».

Войдя в комнату, он поздоровался, подошел. Глянул в глаза. Она бесстрашно повторила: «Ббтала. Я сама видела. Мы только что вернулись с Крита». – «Ах вот оно что! – он засмеялся.

Легким, колышашимся смехом. – А я написал по прошлогодним впечатлениям, решил на летнюю тему... Бóтала... Да, – он замолчал и внезапно произнес очень раздельно и медленно: – Екатерина Витковская. Вспомнил!»

Тетя молчала, ждала объяснений. «Девушка, на которую вы страшно похожи», – добавил Ланин. Вздыхнул: «Оставьте колокольчики, все оставьте. Я пишу сказки. Я сказочник, как вы не догадались?!» И опять взглянул на нее со странным вниманием, без улыбки: поймет? Но она молчала. Сказочник? Он все стоял и вдруг, совсем уж ни к селу ни к городу, добавил неторопливо, слегка покачиваясь на каблуках и глядя не на нее, а чуть выше ее головы, в календарь: «Мне нравится... – он чуть замялся, – то участие, с которым вы читаете мои тексты. Мне нравится...» – но оборвал самого себя, не стал договаривать, слегка покраснел и быстро вышел.

Дверь не закрыл, поднялся сквозняк, бумажки взмыли, салфетки, липучки, оборотки, ручки сдвинулись, поползли, полетели. Пустая чашка опрокинулась и упала ей на колени.

Тетя захлопнула дверь, навела порядок. Фамилию, которую произнес Ланин, конечно, сейчас же забыла – искала наугад в «Яндексе», Екатерина, но какая? Виловская? Будковская? Ничего так и не нашла.

После того объяснения прошел почти месяц, Лена давно вернулась, и все постепенно вернулись, и снова потянулась пресная, одинаковая жизнь – Ланин опять был в отъезде, безнадёжном, вечном – лишь волна летнего тепла, накатившая на Москву, немного размягчала, наполняла хоть чем-то – знакомой, выдержанной как вино, многолетней уже тоской. Но сегодня утром... нет, это была не догадка, не предположение – точное знание. Все скоро изменится. Вот-вот.

Тетя сдала уже третий текст, теперь самое время было попить чайку-кофейку... Она поднялась, но увидела, что лягушонок в аське прыгает – писала Лена, вообще-то сидевшая напротив, но сейчас, видно, не желавшая посвящать в их беседу остальных.

«Тебе нужна подработка? – спрашивала Лена, Тетя задумалась, сейчас же появилась следующая строка. – Слышала про проект главного “Семейный альбом”? Чтобы читатели присылали свои семейные истории, с фотографиями, а мы бы публиковали лучшее».

«Да, объявления же в каждом номере», – натюкала Тетя.

«Именно. И за две недели пришло уже несколько очень толстых конвертов, – быстро строчила Лена, – и несколько тонких. Нужны ридеры, те, кто все это будет читать, отбирать стоящее для публикаций. О чем главный, само собой, не подумал 😊. Мне Ланин только что написал в ужасе – его поставили это курировать, но людей не дали. Правда, дали немножко денег. Спросил, не знаю ли я кого, кто мог бы, и, между прочим, помянул тебя...»

«Меня?»

«Да, сейчас».

Через несколько мгновений в окошке появилась вставка из ланинского письма. «...до полного отчаянья. Может быть, предложить кому-то из ваших сотрудников – вот та чудесная кареглазая женщина, сидящая напротив вас, под календарем. Читатели нужны грамотные, со вкусом – по-моему, она справится...»

Тетя улыбнулась: ишь ты, и глаза разглядел!

«А сколько надо будет читать? И сколько это стоит?»

«Важно твое принципиальное согласие, – быстро ответила Лена. – Все подробности уже с Ланиным. Думаю, не обидит. Я тоже собираюсь. А объем чтения сама сможешь регулировать. В общем, пишу ему, что ты не против?»

Вот оно, рукопожатие судьбы. Утреннее предчувствие не обмануло! И она не думая протянула ладонь в ответ, напечатала:

«Да. Конечно же, да».

Оторвалась от экрана, поймала Ленин взгляд – Лена ей подмигивала и показала кулак: поработаем!

Михаил Львович позвал их к себе в кабинет уже вечером. Был дружелюбен, энергичен, но краток. Выдал по несколько конвертов, разорванных.

– Я пока примерно половину просмотрел. Много мусора, пишут одинокие в основном пенсионеры, но есть и очень, очень... Один человек... Голубев, кажется, он вам, по-моему, достался – в голубом таком конверте, даже двух, – Ланин кивнул на бумаги в Тетиных руках. – Как на заказ, видно, лежало у него все это, ждало своего часа. Представляю, как он обрадовался, прочитав наше объявление. Но это действительно потрясающе, готовый практически материал. И фотографию, как мы и просим, прислал – копию... Одно плохо, слишком много, длинно, даже если в двух номерах печатать, нужно будет отбирать, сокращать, – Ланин замолчал, что-то про себя считая, – максимум тысяч на тридцать знаков, в номер по пятнадцать пойдет. Язык, в общем, простой, слегка суконный, зато фактура! – Михаил Львович расширил глаза, покачал головой. – Если дело пойдет так и дальше, книжки печатать начнем...

Лена уже выходила, но Тетю Ланин задержал взглядом, поглядел ласково и почти братски (ну да, у них же общее дело теперь!), произнес уже совсем другим тоном – медленно и разборчиво.

– У вас могут возникнуть вопросы, а я много разъезжаю... – он будто слегка смутился. – Вы можете звонить мне прямо на мобильный. Запишете номер?

Она послушно, немо выудила из кармана мобильник, приготовилась, но он уже говорил дальше: «Нет, подождите, я вам сам позвоню, диктуйте». Через несколько мгновений в кармане рассыпались мраморные камешки.

Она вышла из редакции без сил, но с ощущением защищенности. И легкости. Критские полскалы свалились с плеч. Тетя взглянула на темное в розовых просветах небо и не захотела от него отрываться. Ехать долго-долго, несмотря на усталость. Ехать и посматривать вверх, следя за перемещением облаков в тающей бледно-розовой дымке. Завтра выходной, по субботам газета не выходила. Теплый с Колей уже отправились на деревню к бабушке – ее там ждали только завтра, но, сев в машину, Тетя повернула в область. Позвонила Коле, он буркнул: поосторожней там в темноте.

Движение было плотным, но терпимым. Едва она выехала за кольцевую, дохнуло прохладой – лето летом, но в конце сентября темнеет рано, холодает быстро. Появился черный лес, из подступившей к самой дороге деревни потянуло сладко-горькими ароматами окрестных садов. Пахло яблоками, прелым листом, осенними кострами и еще чем-то, что нельзя разгадать. Смесь заволокла голову, закутала сердце. «Запах рая, который потерян», – неожиданно подумала Тетя и вздрогнула: так недолго и заснуть за рулем.

Объявление: обозрение неба

В пятницу и субботу, в случае ясного неба, с 7 1/2 час. вечера в кружке любителей физики и астрономии губернской гимназии будет произведено обозрение неба, Юпитер, звездные скопления и двойные звезды. Вход для лиц посторонних в кружку – 25 коп.

Глава четвертая

Она ехала к Теплому, который, конечно, спит давным-давно, обняв любимого белого пуделя, как-то его зовут, забыла, к Коле – устался вместе с отцом в экран, ехала с новым сочетанием цифр, крепко застрявшим в крошечных электронных мозгах мобильного, лежавшего во внутреннем кармане куртки, под самым сердцем. С новым проектом за душой, который уберезит ее – нет, спасет.

Как, как случилось, что они с Колей столько времени вместе? Милый мальчик, смешной, кажется, добрый, но совсем другой, из другого круга. Да это-то и притянуло, с ума свело! И еще мама, мама твердила, да и когда не твердила, все равно, всем своим видом заклинала: нельзя оставаться одной. Только замуж! Обихаживала всех ее ухажеров, пекла для них пироги, особенно полюбила консерваторского Лесика, мальчика из интеллигентной семьи – с падающей на глаза серой челкой, целующего руки и маме, и Тете. Даже написавшего в Тетину честь сонату, но на самом-то деле – как ты не видишь этого, мама, почему же тебе меня не жалко? – влюблен Лесик был в одного себя и в собственную влюбленность. Отвалился через полгода, после краткого, но решительного объяснения. Мама пила валокордин. И переключилась на круглолицого, вечно краснощекого Сему Волчкова с их курса, слова не способного сказать в простоте – ироничного поэта. Он появился в ее жизни уже после университета, в начале аспирантуры. Сема дружил тогда с философом Веней Гробманом, часто вдвоем они и приходили, Веня запал на нее тоже и все цитировал Хайдеггера и Бубера, неведомых, полузапретных, но уже снимались все запреты... Мама склонялась больше к Вене, восхищалась его ученостью, Тете больше нравился Сема, он хорошо шутил, но ни тот, ни другой, конечно же, нет. Ни-ни.

После всех этих ломаных, болтливых!.. нервических – Коля, молчаливый, умелый, с робкой стеснительной улыбкой показался оплотом среди цветущих этих заплесневелых болот. Тем более когда позвал в поход.

Ни в какие походы она никогда не ходила. И никто у них не ходил – изнеженные филологи, не физики ж они какие-нибудь. Коля позвал на три дня, в майские, на байдарке. И она согласилась. Мама отпустила ее легко, хотя Коля был совершенно не в ее вкусе, только пальчиком погрозила – и не сказала ничего. Не волнуйся, мам, все будет хорошо! Потому что Коля – хороший.

Путешествие и в самом деле оказалось чудесным – окутанным зеленым прозрачным туманом, из которого торчали тонкие веточки в набухших почках, выглядывали внезапные, за излучиной, пригорки в елках, еще не обросшие зеленью коричневые поляны в желтых пятнышках мать-и-мачехи. И те же цветки, поляны лежали опрокинутые в темной воде, по которой плыли вместе с ними палки, травинки, черные деревяшки, водные жучки. Она вдыхала запах реки, мокрой земли, первых зацветших растений. Ей казалось: слышно, как осторожно расправляет легкие и дышит природа. Она сидела на корме, Коля греб. Во время стоянок приносила на растопку сухие ветки, собирала букетики из первых цветов и трав, Коля вбивал колышки в землю, ставил палатку, рубил дрова для костра, жарил на углях в закопченной сковородке тушенку, кипятил в котелке чай. Большие, красные, чуть шершавые руки, синие глаза, глядящие на нее весело и с заботой: Ты не замерзла? Кружка горячая, осторожно. Тише здесь, можно провалиться. Не устала?

Через протоку, которую надо было переходить пешком, Коля, перетащив вещи и байдарку, перенес на руках и Мотю. Спокойно, деловито шагал по ледяной воде босиком, обхватив ее железной хваткой, без лирических отступлений. Это было единственное объятие в тот поход, тогда Коля ни на что не посягал, только глядел на нее влюбленно, только заботился, быть может, бравировал своей легкостью и сноровкой, ну и что? Она им любовалась. И все смотрела в веселую синеву глаз и на руки.

Это было его пространство – зеленые берега, речка, птички курлыкающие голоса, голые, замершие в истоме деревья, вот-вот стрелнут листьями. И он делился с ней всем, раздавал его вот этими руками, отгораживал от опасностей, нес.

Чувство надежности, совершенно незнакомое, оборачивало, грело, точно спальный мешок, который тоже, кстати, выдал ей Коля – такой толстый и уютный, что она проспала в нем всю ночь на ежике и не заметила. Ежик устроился у нее в ногах, только утром Коля его обнаружил, выпустил на волю, рассмеялся. Она вообразила тогда: как вернуться в Москву, Коля позовет ее замуж.

Но только зимой у нее в гостях он спросил неожиданно: «Пойдешь за меня?» Она растерялась. Хотя думала об этом постоянно и в мыслях всегда отвечала «конечно». Но это же понарошку! Будет ли им счастье? Ведь никогда еще больше одного вечера, хорошо, не вечера – дня вместе они не проводили, а тут нужно остаться вдвоем на целую жизнь... И вдруг вспомнила: проводили. Поход. Три дня прожили рядом, и так легко. Руки, забота, глаза, мать-и-мачеха вспыхивает желтыми огоньками...

* * *

Тетя почувствовала, что снова засыпает, замотала головой, глянула вверх. Огромная луна плыла вместе с ней над дорогой, ныряла сквозь налегающую на землю ночь – темно-желтая, в легком рваном облачке, таком истершемся платье. Мечтала о бале, но вот что только и нашлось в небесном гардеробе – лохмоточки для толстой матроны. Ну и что ж – не постеснялась, вышла и плавно двигалась по небу, лила на землю неяркий, густо-оранжевый перекипевший свет.

* * *

Свадьбу назначили на 12 июля 1998 года.

Едва ее неизбежность стала очевидна, Тетя затосковала – жертва, приносимая на алтарь. Какой, чей? Алтарь обычая, так-принято, так-положено, надо-замуж. И не радость, не надежды – страх сжал горло: благоухающая, заросшая мать-и-мачехой земля, на которой она жила прежде, сжималась, превращалась в остров. И с каждым днем вода прибывала. К 12 июля она стояла на узкой полоске размером в четыре человеческие ступни. Коля был рядом, но она не понимала, не знала – спасет он ее? Удержит? Столкнет?

На свадьбе, уже после благословившей их загс-тетки в изумрудном пиджаке и бубнивого венчания, на котором настояла Колина мать, она получила последнее предупреждение – но и тогда поверить не могла. Хотя сколько раз потом вспоминалась та бабка – будто в отместку за то, что не послушалась ее и вовремя не сбежала.

Под навесами возле недавно перестроенного Колиным папой большого дома накрыли столы, свадьба была с размахом, гостей собралось под девяносто человек, Тетя видела меньше половины, кто-то сидел за ее спиной, кто-то так далеко, что лиц было не различить, но несколько бабушек сидели совсем близко. Одна из них – высокая, сухая, в небрежно повязанном цветастом платке, глядела на нее страшно тихим, убитым и почти бесцветным в легкую голубизну взглядом. Взгляд жил на лице отдельно, независимо от разгоревшихся после выпивки щек, тонких розовых губ, которые бабка часто облизывала, морщин, разбежавшихся по лицу, когда бабка улыбалась, кричала «горько» или пела.

Песни, которые в наступившей усталой тишине уже перевалившего за середину свадебного пира запели бабушки, были из давних времен их юности. Первая – веселая и простая. Тетя и сейчас помнила некоторые слова и незатейливую ритмичную мелодию:

Кто у нас хорошей,

Кто у нас пригожей,
Николай хорошей,
Андреевич пригожей.

Дружелюбно шамкали бабушки, и кое-где за столами им подпевали, в основном женские голоса. Николай был малый хоть куда:

Споро умывался,
В свадьбу снаряжался.
Рубашка кумашна,
Жилетка отласна,
Драповые штаны,
Сапоги сафьяны,
Сертучок в обтяжку,
Часы во кармашке.

Выводили старухи дальше с серьезными отрешенными лицами.

Расчесав головушку, Николай садился на коня и скакал через реку, к любушке, которая встречала его с графинчиком, наливала чарочку и подавала нареченному.

Тут Колина мать, низенькая, толсто-мягкая Валентина Матвеевна, толкнула ее под бок, и она послушно налила из стоявшего рядом графина в рюмку беленькой. Коля, который всю свадьбу почти не пил, рюмку с улыбкой принял, а она снова поглядела на него. Точно песня бабок ей Колю умыла. Высокий красивый парень с русыми золотыми волосами, глазами цвета июльского неба – он и в самом деле шагнул оттуда, из этой песни вечной, из русской синей дали, спешился, привязал коня, сел за стол.

Да неужто он теперь ее, ее муж? И радость, воздушная, восторженная, детская, тихо окатила ей душу.

Песня про Колю развеселила оловелых уже гостей, они потребовали продолжения. Но остальные песни у бабок оказались грустные. И разобрать в них слова, как ни напрягала она слух, было сложнее. Проклевывался только общий смысл: в одной, совсем короткой, кукушечка боялась, что вот-вот приедут бояре, а с ними нагрянет и жених, матушка утешала свою пташечку, как могла. В другой красна девица отпускала в реку свою девичью красоту – «ты плыви, моя красота, да в синюю реченьку, ни к которому бережку, ни к которому кусту не приплывай».

«И где же, где же оказывается эта девичья красота в конце концов?» – думала Мотя, но уже по синей речке плыла не красота, а «корабельки», полные гостей. Но и прибытие гостей в песне отчего-то было печально. Тут она и поймала взгляд.

Бабка в цветастом платке пела, глядя прямо на нее. В выцветших, когда-то голубых глазах горели безнадежность и скорбь. Точно предупредить ее хотели эти глаза. О будущем, о том, что впереди глупую кукушечку ждет такое, что много печальней, чем эти песни. «Беги, пока не поздно, девка!» – вот что прочитала невеста в бабкиных глазах. И думала рассеянно: все эти рубашечки, реченьки, головушки, мягкие ушки и нежные чирикания суффиксов – только фасад, попытка закрасить грозное будущее замужней жизни русско-народными узорами, утешить себя перед испытаниями. Но какими?

Ей казалось, в следующей песне явится разгадка, хотя бы намек – и она уловит, в чем дело, поймет, что уж такого ужасного в этой супружеской жизни и отношениях, по поводу которых так солоно и нагло шутят гости. Но бабки уже всем надоели. Песню про корабельки едва дослушали, все зашумели, снова заорали «горько», подняли еще раз рюмочки и громко, слаженно запели знакомое. Забили кукушечек миленьким моим, степь да степью, захлестали

тонкой рябиной и даже пробравшимся контрабандой миллионом алых роз. Тошно ей стало от этих пьяных голосов, она порывалась встать, но не смела – Коля сидел и подпевал. Она молчала, хотя тоже знала слова.

Глядела на распаренные водкой незнакомые лица, серьезно и дружно открывавшие рты. Особенно отчетливо слышались женские, с затаенной истерикой, голоса – с соседнего стола, там собралась целая команда теток – всем им было под пятьдесят, все были сильно накрашены, наряжены в блестящие обтягивающие блузки, на толстых шеях висели тяжелые бусы... Подружки Колиной мамы? Впрочем, в женский хор вливался и басовитый подголосок, мужиков было заметно меньше, но сидели за столами и они – в белых рубашках (пиджаки все давно снимали), с лицами запойных, но работяг, пашущих, может быть, и на Колиного отца Андрей Васильича, владельца трех шиномонтажных мастерских в Подмосковье.

Несколько Колиных друзей сидели за «молодежным столом», прямо за их спиной, она их не видела. Еще недавно смеялась за этим столом и белокурая Алена, ее свидетельница.

Алена, Алена... Тетя отвлеклась от мыслей о свадьбе и подумала с печалью – как хорошо они дружили, с самого десятого класса, как часто виделись тогда. С Аленой – умницей, переводчицей, она окончила иняз, работала в глянце, разъезжала по свету, – было так легко – вот уж кто никого никогда не осуждал! И это ведь Алена потом твердила ей, в ответ на ее жалобы-вздохи о семейной жизни: «Да в чем проблема, кисуль? Разбежаться и забыть!» Коля, точно чувствовал, сразу ее невлюбил – «болтливая дура!» И теперь они встречались с Аленой страшно редко, раз в полгода-год, обычно на нейтральной территории – в кофейне или ресторанчике-суши, Алена питала к ним слабость. Обычно подруга вручала ей очередной шедевр: денег ради, а потом уже просто по привычке, она писала под псевдонимом «иронические любовные романы» – и шли эти книжечки в мягких обложках с задорными заголовками, как горячие пирожки. Энергичные, элегантные и такие же, как Алена, *легкие* герои с некоторым опытом разочарований за плечами в конце концов вытаскивали из колоды козырную карту и выигрывали – а на кону стояла любовь до гроба и ослепительное женское счастье.

Две фары резанули глаза в зеркальце синеватым светом, огромный джип сел ей на хвост, Тетя вежливо включила правый поворотник, ушла в соседнюю полосу. Даже и в пробке, собравшейся перед светофором, им хотелось быть первыми!

Тогда, на свадьбе, точно сразу почувствовав, что чужая всем, даже ей, теперь, – Алена быстро сбежала обратно в Москву – завтра утром на работу, мы же и по воскресеньям пашем. Она работала тогда, кажется, в каком-то цветном приложении к чему-то. И со стороны невесты осталась только мама, сидевшая за родственным столом, зажатая двумя Колиными тетками. В середине «острова на стрежень» раздался низкий, протяжный звук – где-то совсем близко замычала корова. Гости снова грохнули: подпела! Колина мать держала хозяйство – невесте все показали еще в первый ее приезд: в просторном сарае жила черная в белых пятнах Милка, в соседнем закутке мекали две козы, за следующей загородкой помещалась свинья с черными поросятами, за отдельной дверью – куры. Кажется, именно после мычания к ней и подошла какая-то Колина родственница – невысокая, крепкая, надежная крестьянская порода – чем-то очень похожа она была на Валентину Матвеевну, только длинноногая, с черными крашеными волосами. Родственница приблизилась к Тете, не дала ей встать, обняла за плечи и, дыша водкой, вдруг прошептала влажно, почти касаясь губами ее уха: «Повезло тебе, девка. Колька наш – ведь чистое золото!» Тетя вздрогнула, отпрянула и получила новую порцию: «Золотой, грю, мужик». Родственница распрямилась, откинулась назад и, почему-то оглушительно заржав, ушла в сторону дома. Никогда с тех пор Тетя ее не видела, кажется, мать Колина с ней поссорилась, но фраза запала. Тогда Тетя согласилась совершенно – тем более в закатном солнце волосы у Коли действительно отливали золотым.

В опустившуюся темноту внесли украшенный свечками белый высокий торт. Под восторженные крики и чье-то настойчивое «Невесте – розочку!» торт разрезали. Ей все сильнее

хотелось выключить звук, это никак не смолкавшее жадное «горько» и Колю. Язык его все веселей хозяйничал у нее во рту.

Тетя уже приближалась, поглядывала на щиты, не пропустить бы своего поворота, изредка с ней это случалось, стоит задуматься... Уже совсем недалеко от Голицына началась пробка, в такой-то час? Хотя перед светофором иногда так бывало. Из соседнего ползущего рядом «Гольфа» вырвалось «Напрасные слова...», м-да, так и есть, за рулем сидел дедок, видать, подглуховатый...

Малинин вздыхал из динамиков и на свадьбе. На освещенном прожектором пяточке возле крыльца неутомимый Андрей Васильич – коренастый человек с грубым лицом, кустистыми нависшими бровями и синими глазами – устроил танцы. Юрий Антонов, Алла Борисовна forever и кто-то еще, ей неизвестный, не из ее молодости... Гости танцевали с охотой, после пяти часов сидения за столом хотелось размяться. Даже мама разошлась и кружилась под «знаю милый, знаю, что с тобой» с Колиным папой, а потом еще с каким-то лысым мужичком в белой рубашке и галстук.

Молодых наконец оставили в покое, из приличия они с Колей тоже потоптались немного на площадке, но, к счастью, к ним подошли Колины друзья.

Колин свидетель – самый длинный и симпатичный, коротко стриженный, с темным ершиком на голове – Серега, балагур и дамский угодник Ашот, поднявший за молодых два, один цветистей другого, тоста, худой, нескладный и молчаливый, слова не вытянешь, Леша, всю свадьбу честно их фотографировавший и наконец спрятавший свой большой фотик в футляр. Все трое были Колиными однокурсниками, учились с ним в одной группе в МИРЭА, с Ашотом Коля теперь еще и вместе работал. Леша единственный из них был женат, но жену оставил на даче – с годовалым сыном.

Серега, обняв ее и Колю за плечи, пьяновато, но проникновенно говорил про счастье на долгие годы, про любовь, которую очень важно беречь, но незаметно отвлекся, начал обсуждать с Колей новый сайт про железо, который Серега вот-вот собирался запустить. Ашота пригласила на танец местная девица в кожаной мини-юбке и посверкивающих в темноте сережках-кольцах, Леша слушал Серегу и Колю, а она с облегчением ушла наконец в темноту, за дом, туда, где был сад, переходящий в огород и грядки. К задней стене дома лепилась старенькая лавка, она присела, еле живая, прислонясь спиной к деревянной стене. Нет, все, конечно, могло быть и хуже. Она слышала жуткие рассказы подруг про упившихся вдрызг гостей, пьяные драки, какой-то идиотский выкуп невесты – ничего этого не было, и все-таки...

Что-то здесь было не то, и не только что все чужое, что-то еще. Сейчас она была рада, что никого из друзей, кроме Алены, не позвала сюда, никто этого не видел... Она чувствовала, что засыпает, спит. Перед глазами плыли все те же столы с бутылками, цветные этикетки, салаты, те же лица, слегка подсиненные вечером. Вместе с людьми, положив на стол передние копыта, сидели коровы, козы, во главе стола полулежала свинья, уронив пяточок в хрустальную салатницу с оливье. По столу между тарелок расхаживали куры и еще какие-то черные птицы – соколы? Стучали клювами по деревянной столешнице, клевали крошки. Коровы жевали листья салата, ловко заглатывали красные помидоры, снимая их черными языками прямо с блюд, козы хрустели редиской, иногда кто-то негромко мычал и блеял. Никого из человеческих гостей это соседство, похоже, не удивляло, и Тетя испытала наконец облегчение. Вот, оказывается, что не так на этом пиру! Вот что... Но додумать она не успела, столы оплавились, двинулись и потекли, побежали синей реченькой, птицы встревожились, забили крыльями, соколы взмыли в небо, курицы обратились в корабельки и поплыли по кудрявым волнам, один стол аккуратно втек в другой, второй – в третий, речка так и тянулась ровной лентой с пестрыми кораблями меж людей и зверей. Коровы не растерялись, склонились к воде, начали шумно лакать, корабли аккуратно огибали их широкие пятнистые морды. Коля легонько тряс ее за

плечо, смеялся. «А я-то думал, наши балуются, раньше, знаешь, обычай был – крали невесту». Она улыбнулась: а меня украл сон.

Вскоре гости разбрелись, разъехались, в доме осталась одна родня. Она стояла в саду, круглые зеленые яблочки свешивались к самой голове, висели над плечами, рядом на кустах темнела смородина. По розовеющему небу плыли темные тучи, даже ночь до конца не растворила духоты. И какой-то заблудившийся мотылек все бился о ее плечо, о слегка поблескивающую серебристую отделку белого платья. Коля ждал ее, а она никак не могла двинуться с места. Наконец полузакрыла глаза и пошла, тихо-тихо.

Крыльцо, широкие деревянные ступени, заваленная подарками терраса, дверь.

В комнате душно. Полкомнаты занимает широкая кровать – расстеленная. Рядом простенькая тумбочка, на тумбочке погашенная лампа с желтым абажуром. Где же Коля? Она оборачивается. В углу стоит высокий мужик. Неприятно голый. Улыбается чуть смущенно. Но видно плохо – лицо его прячется в тени, зато *туда* падает слабый свет из окна.

Она читала книжки, смотрела фильмы: этот отросток нужно будет трогать, мять, гладить, может быть, даже, о господи, лизать языком. Тогда он оживет, обрадуется, засмеется, мягкая спинка упруго распрямится, отвердеет, и сарделька почувствует себя молодцом, добрым молодцем, бодро скачущим по полям, по лесам, к красной девице в терем. Тетя начинает задыхаться: давай откроем окно. Оно открыто, как-то бесцветно отвечает мужик. Чем здесь так сильно пахнет? Ах, да, запах стружки, пахнет деревом, Андрей Васильич обил эту комнату планкой прямо накануне свадьбы, и запах свежего дерева стоит неподвижно. Она делает шаг назад, к двери. Но мужик...

Коля? А кто? Кто еще, не узнала, я уж тебя заждался, он натужно усмехается, тянет ее за руку к себе, поворачивает спиной, расстегивает молнию сзади, стаскивает с плеч жаркое, измучившее за день жесткое, но так шедшее ей платье, освобождает уставшее тело. На полу остается кружевная белая горка. Ведет к кровати, сажает, расстегивает ремешки, снимает босоножки. Уже нетерпеливо и как будто с раздражением, едва приметным. Она наклоняется ему помочь, взгляд ее упирается во что-то блестящее, ровное – под кроватью стоят банки с вареньем, с огурцами, видно, те, что не поместились в погребке, который ей тоже показывали еще в самый первый приезд. Она запрокидывает голову, вкатывает обратно две вылезшие из глаз капельки. Давит внутренний ор спокойным, примиряющим, воркующим хорком тех песельниц: что ты, девка, так надо, так ведь положено, все правильно, все хорошо. И чуть тише, спокойней: Коля – твой муж.

Под самым окном кричит петух. Подушки, шкаф, Колю озаряет воспаленным фиолетовым светом, грохочет гром. На землю рушится дождь, в комнату врывается свежесть. Дождь льет до утра – чудный июльский ливень, он спасает их от продолжения – слишком широких гуляний.

Теперь она знала: в те первые дни Коля был с ней таким, каким никогда после. Никогда с ней, только с Теплым она изредка различала в нем ту, именно ту далекую и тогда ей одной предназначенную застенчивую нежность.

На следующий день, когда они лежали рядом глубокой ночью и все не могли уснуть, она призналась Коле, как ей понравились печальные старушечьи песни. И Коля начал ей петь. Вполголоса, мягко, низко. Он знал несколько песен, не свадебных, других, но тоже прекрасных – «перенял от бабушки», которая умерла к тому времени уже года четыре как. Это ее подружки пели на свадьбе. Самая близкая Матвевна, заметила? Которая высокая, и глаза у нее такие... Коля, я заметила, да! Муж ее был сволочь редкая, чуть не убил ее, несколько раз едва живая убегала от него, у нас сколько раз пряталась, в больнице лежала, он ведь даже сидел, за драку, нет, с мужиками, в тюрьму сколько посылок ему отправила. А вернулся, опять за свое, но лет десять как уж повесился, слава те господи. Тетя молчит, Тетя онемела. И, чуть прокашлявшись, Коля начал петь. Его песни тоже были из старых, из настоящих.

Вот только о чем были те Колины песни? Одна точно про утицу, серую утицу... А другая? Голос, мягкий баритон – помнила, а слов, слов нет. Ведь всего-то шесть лет прошло, но нет, не могла. Он пел ей совсем тихо, по ночам, пел для нее одной. Потом только она разобралась: на самом деле Коля был бессловесен, не любил слов, особенно сказанных вслух, и даже «я тебя люблю» произнес за все это время лишь однажды, но песни, песни помогали ему выразить... И Коля пел. И на вторую их ночь, и когда жили в гостинице в Питере, отправившись в недельное путешествие – на большее не хватило денег. Но это Тетя поняла после. А тогда ей быстро стало скучно. Песен было всего три, четыре. Все одни и те же. Ей хотелось говорить с ним, обсуждать прошедшую свадьбу и всех гостей, и как они будут жить дальше – в общем, поболтать с ним всласть, как с Аленой, как с подружками, но Коля пел. Каждую божью ночь. Ох уж эти утицы... Глаза у нее слипались, ей казалось – что ж, попел и хватит, в конце концов довольно и того, что было перед песнями. А слушать из раза в раз... и едва дожидалась, когда утицы долетят куда надо. Давя зевок, говорила – как ты хорошо поешь, спасибо, спокойной ночи тебе.

Больше никогда уже он не пел ей. Сколько ни просила. Зачем? Пожимал плечами, смотрел мимо... Как же быстро кончилось все!

Да почти сразу и кончилось. Едва вернулись из недельного путешествия, едва начала распаковывать подарки в щедро купленной Колиным отцом невероятно просторной, почти пустой еще квартире на улице Вавилова.

– Коля наш, – рассказывала ей еще до свадьбы Валентина Матвеевна, мастерица солить огурцы, – мясо любит, не остановишь! Из супов – борщ, обязательно с капустой, а вот к сладкому он не очень.

Тетя лет с восьми, вскоре после того как умерла бабушка, росла на макаронах и сосисках, мама терпеть не могла кухонные хлопоты. Иногда только по вдохновению пекла необыкновенно вкусные булочки сердечком и пироги по бабушкиному рецепту. Но *мужу* надо было готовить. Он привык есть мясо и борщ.

Среди горы свадебных подарков Тетя обнаружила миксер, электрическую мясорубку, несколько разнокалиберных сковородок, мисок, кастрюль. И большую картонную коробку с прозрачной пластиковой крышкой, под которой лежали ровным рядом сверкающие *инструменты* неизвестного назначения. Вполне она опознала только половник (но какой-то маленький).

Тетя аккуратно распаковала тогда эту таинственную команду, вынула друг за другом гигантскую вилку отчего-то всего с двумя острыми зубцами, гладкую наклонно крепящуюся к ручке лопатку с длинными продольными отверстиями, великанскую ложку тоже с отверстиями-полосками, загнутую кружком пружинку на ручке, половник и другой, напоминающий ежика – с зигзагом по краям и вытянутой щелью посередине – что таким, спрашивается, можно налить? Лишь ощупывая вогнутый, дырчатый кружок на такой же, как и у всех остальных, длинной металлической ручке – из дальних глубин памяти, связанных, то ли с уроками труда в четвертом классе, то ли с просторной полутемной кухней в бабушкиной еще коммуналке, на поверхность сознания всплыло слово «шумовка». Дно коробки выстилала белая хрустящая бумажка, на которой обнаружились довольно точные портреты всех железяк и несколько строк возле каждого портрета – на двух языках сразу, итальянском и китайском. На коробке значилось Ghidini. Имя ее врага, бога, которому оставалось только покориться. Тетя признала его силу, его власть над земными дарами, бесформенной кучей нарезанного лука, натертой морковки, нашинкованной капустой – лишь он мог обратить эти обрезки в единое, вкусное блюдо. Оставалось отдать ему по-военному честь, недаром и рецепты в кулинарной книге звучали как короткие приказы. «Промыть рис», «смешать три яичных желтка», «вливать два стакана воды», «на гарнир подать гречневую кашу».

Сколько неизвестных слов и понятий она выучила в те героические недели, сколько нового узнала, впервые открыв для себя, чем ростбиф отличается от шницеля, а гуляш – от

антрекотов, что значит «толстый край», «оковалок» и слово, за внешним легкомыслием таящее издевку, – «голяшка»!

Коля приходил с работы неизменно уставший, пахнущий потом, все собиралась подарить ему дезодорант, но не решалась, жаловался, как тяжело было, – «опять целый день лазил под столами» – она уже знала, это значит, чинил чьи-то компьютеры в своей фирме. Без году неделя муж даже не делал вид, что рад ей. А на торжественное объявление, что сегодня у них на ужин антрекот по-эльзасски и картофельная запеканка с соусом из паприки, лишь снисходительно усмехался. Он воспринимал ее подвиги как должное. Она пока не работала, школа не началась – ну и чем ей еще-то заниматься, как не стряпать мужу? Мужу, который не привык оставлять еду на завтра, сколько бы ее ни приготовили. Тетя и не подозревала, каких масштабов достигает мужской аппетит. И с грустью, которой сама стыдилась, наблюдала, как несколько часов ее кулинарных чародейств исчезают за каких-то двадцать минут ритмичной работы Колиных челюстей.

Ее спас дефолт, грянувший в конце августа. Оптовые рынки опустели, цены поползли вверх, в Колиной конторе перестали платить зарплату, и можно было с легким сердцем варить на ужин макароны или картошку. К тому же начался учебный год.

Симпатичный, так пленявший ее поначалу своей простотой и чистотой душевной человек с золотистыми волосами, большими, крепкими, чуть красноватыми руками, ее муж навалился на нее всей своей тяжестью, всеми своими кошмарными привычками. Русский muzhuk. Цвет у этого мужицкого был красно-бурый, как запекавшаяся кровь. Кровь была ее.

Коля никогда не мыл за собой посуду, и если ее не было дома, аккуратно складывал грязные тарелки в раковину. Не выносил ведро, даже если мусор сыпался наружу. Не менял каждый день носки и рубашки. За время своей общежитской жизни он привык экономить одежду. Она упрямо относилась все в грязное и выдавала ему новое. Они ссорились, Коля кричал: зачем стирать еще совсем чистые вещи! Они от этого портятся!

Сверкнул белый щит с ее поворотом – чуть не пропустила! Она повернула, и тут же зазвонил мобильный. Коля.

– Далеко еще?

– Нет, уже рядом, повернула только что.

– Ясно. Скорей давай.

Отбой. Но что-то в его голосе подсказало Тете: не отвертеться. И сегодня как всегда будет супружеский долг.

Обманули все. Толпы стихотворцев, художников, режиссеров, воспевавших чувственную любовь. Рисовали, снимали на пленку бесчисленных голых женщин с розовой, сияющей внутренним светом кожей и ввали, ввали в глаза, утверждая, что нет в мире ничего слаще этого слияния, а на самом деле пыхтенья, жадной возни на тебе, жалкого стога в долгожданном финале. Хоть бы кто предупредил. Лгали в рассказах о своих приключениях и подружки, Алена и Вероника, томно вздыхая и давая понять, как же это классно. И целомудренная Тишка молчала... хоть она-то могла намекнуть? Потому что и все остальные обманули, все, кто так же упорно обходил эту тему молчанием, легкими бессовестными шагами обходил, ускользая в бессодержательные смутные намеки, все эти бесчисленные *старшие*, делавшие вид, что ничего такого не существует вовсе. Проклятие человеческого рода.

Даже теперь, шесть лет спустя, она так и не смогла до конца примириться, так и не увидела в этом ничего, кроме... крыски на велосипеде.

Однажды, сидя в те самые тяжкие дни первого послесвадебного месяца в очереди к зубному в свеженькой, новорожденной клинике и перебирая журналы на столике, среди блестящих, пестрых обложек Тетя наткнулась на обложку из детства: «Наука и жизнь». Журнал по-прежнему выходил! Она открыла наугад и попала на научно-популярную статью об экспериментах генетиков над мышами и крысами. Один из них поразил ее. В ту часть мозга, что отве-

чала за эйфорию, зверьку вживляли электрод, а к лапке подводили педальку, которая включала ток и стимулировала центр удовольствия. И что же? Забыв про сон и еду, крыска жала и жала на педаль в жажде счастья, пока не погибала.

Уже в кресле у доктора, совсем молодого, веснушчатого, мохнатого, открыв рот и упервшись взглядом в глухую кирпичную стену дома напротив, она смотрела мультик – цветной.

На велосипеде катила темно-серая крыса Ньюша, блестела черными глазками, мчалась вперед и вперед, по правильному кругу, точно вписанному в квадрат кирпичной стены. Ньюше вживили в мозг тонюсенький проводок – в то место, где хранилось у нее сокровенное, вот ей и показалось: ни на каком она не на велосипеде... а мчится в бесконечный синий космос, по лунным дорожкам, в необъятную радость, вот и милый Вася трется своим хвостиком рядом, зачинает ей новых и новых крысят. Ньюша восторженно попискивает, задыхается, потеет, крутит педальки, хочет, хочет еще. И Вася послушно трется. Час, два, четыре. Силы у Ньюши кончаются, лапки слабеют, двигаются все тише, замирают. Но стоит им перестать работать, поднимается черный вихорь, Вася со страшным оскалом пропадает во мраке, розовые Ньюшины ушки различают жуткий предсмертный стон. В полуобмороке Ньюша бросается к своим педалькам. И чудо. Вася снова тут, делает свое сладкое дело. Нужно только крутить и крутить педальки, работать лапками. Не есть и не спать, не прыгать, не бегать, вперед и вперед. Остановиться она не может, пока... не летит вниз! Велосипед, точно пьяный, проезжает еще несколько сантиметров, скрюченная крыска лежит на лабораторном столе. Сердце бедной Ньюши, а потом и других ее зубастеньких сородичей, не выдержав напора эротического удовольствия, разорвано на клочки. Так бывало и с людьми, летальный исход на вершине блаженства. Любовь и смерть.

Коля останавливался обычно раньше. Тетя возвращалась назад, спрыгивала с Луны, удивляясь только одному – не умерла. От чего? Вот тут и начиналась тоска.

Это был не Коля и никакая не любовь, это был проводок. Вживленный в нужное место. Физиологический процесс, который никак не соприкасался с чувством к мужу и уж совсем не пересекался с чем-то еще – самым важным, ради чего стоит жить.

Вот о чем они не рассказали тоже. Про крысу Ньюшу.

И через год дом взорвался. Ее дом одновременно с теми, и сравнение не казалось ей кошунственным. Крыша поползла, здание красиво, как в фильме, накренилось – компьютерная графика, новейшие технологии. Вылететь на свободу она не успела. Лежала под плитами, кирпичами, чайниками, половниками, шумовками, разбитыми чашками, пианинами, обгорелыми коврами, столами, шкапами, вешалками, оплавившимися зубными щетками, телефонными проводами, люстрами, батареями, паркетными досками. Ее вытащил из-под руин Тема. И все эти годы так и тащил ее и Колю на себе. Обнимал их и всех, кого знал и видел. А недавно сказал вдруг перед сном: «Мама, я так устал от любви». Что? Как это? Но Теплый не добавил ни слова и тут же отправился в поход. С черным драконом и анакондой. Путь их был в Африку.

Глава пятая

Коля ждал ее, открыл железные ворота, она опустила стекло – в кабину вплыли все те же горькие запахи сада, фары вынули из тьмы желтые кружевные тряпочки на черных ветках.

– Голодная? Ужин горячий, – говорил Коля, снимая с ее плеча тяжелую сумку.

Почему в злых своих воспоминаниях о нем никогда, никогда она не помнила об этом – заботливый, добрый! Как был, так и остался, и ужин горячий, потому только, что этот ужин для нее он разогрел!

В доме все давно спали. Она жевала котлету, по усевшемуся на холодильник телевизору Брюс Уиллис мочил гадов, Коля глядел не отрываясь, иногда оборачивался на нее – восхищенно, во как он его! Мальчишка, мальчишка, сейчас вовсе не хмурый, благодарный ей, что взяла да и приехала сегодня, раньше, просто так, нипочему.

Утром она проснулась рано, только-только рассвело, что-то хорошее ждало ее, что-то было. И вдруг – да же! Проект. Скорее заглянуть в разорванные конверты. Она беззвучно поднялась, вынула из сумки голубой конверт, прочитала обратный адрес: «Ярославская область, г. Калинов, улица Рябиновая. Голубеву С.П.».

В конверте лежала стопка листов, напечатанных, господи боже ты мой, на машинке, на «Эрике» в жестком чехле с железным замочком, у мамы была в детстве такая же! Но бумага не прежняя – белая, гладкая, парадная. К первой странице прижата скрепкой копия дореволюционной фотографии.

На крыльце стояла, видимо, семья. В центре – человек в очках, в длинном черном одеянии – священник? Рядом, кажется, его жена, дети... Тетя открепила фотографию – из-под нее выпал сложенный двойной тетрадный листок, исписанный от руки.

Уважаемая редакция!

Пишет Вам учитель истории и математики средней школы города Калинов, Ярославской области РФ, Сергей Петрович Голубев (1938 г. р.). Откликаюсь на призыв Вашей газеты и отправляю материалы для рубрики «Семейный альбом» – фотографию и рассказ о тех, кто на ней. Фотография, копию которой Вы видите перед собой, стоит передо мной на столе, в темной деревянной раме – бледно-серая, в белой пороше времени снизу, с истершимся нижним уголком – «заветрившимся», как говорила мать. Она тоже есть на этой фотографии – девочка в белом платье. Историей своей семьи занимаюсь уже несколько лет, это только малая часть собранных мною материалов.

Буду рад, если что-то из моих разысканий Вам пригодится.

С уважением, *С.П. Голубев.*

Тетя отложила листок, еще раз взглянула на снимок и погрузилась в машинопись.

Вот они все, на крыльце собственного ярославского дома. Это одноэтажный, деревянный, с мезонином дом, – старательно объяснял Сергей Петрович. – Во всех окнах висят белые кисейные занавески, в том, что ближе к крыльцу, виден горшок с бальзаминном. Под крышей, правее, мутный черный кружок – ласточкино гнездо с птенчиками, детская радость. У крыльца – кусты сирени. Позади дома, пусть его и не видно, небольшой сад, с ровными дорожками, клумбами, кустами крыжовника и смородины по краям – матушкино царство.

Снимок сделал гостивший в Ярославле по делам родной брат матушки (моей бабки) Павел Сергеевич Сильвестров, купец из Москвы,

увлекавшийся фотографией. И фотография у Павла Сергеевича получилась почти профессиональная – четкая, крупная, необыкновенно удачная.

ОТЕЦ ИЛЬЯ (1856 – 1918)

В центре – отец Илья. Худой, высокий, в черной рясе, с густой бородой – темно-русой в рыжину (по воспоминаниям матери), с длинными, в молодости вьющимися, а теперь прямыми волосами, зачесанными назад. Батюшка без головного убора. Большой круглый лоб, железные очки. За очками в глазах – ум, тишина, усталая строгость.

Дед напоминает здесь не столько попа, сколько разночинца-интеллигента. Так оно отчасти и было, только, конечно, наоборот – это разночинцы вышли из поповского сословия и напоминали своих отцов и дедов, провинциальных дьячков и иереев.

Родился отец Илья еще при крепостном праве, в 1856 году, в семье сельского священника отца Герасима. Отец Герасим служил в сельце Видово, что в двадцати верстах от Переславля.

Детство Ильи прошло в избе, он жил с отцом, матерью, бабушкой, а потом и двумя младшими братьями, сестрой и дальней родственницей Кузьминичной, вдовой дьячка. Кузьминична помогала им по хозяйству за хлеб и кров. До рождения Ильи у отца с матерью случилось горе – умер их первенец. Он рождался трудно и родился совсем слабым, желтушным – несмотря на это бабушка велела дочери постить младенца по средам и пятницам – то есть не давать молока и поить морковным соком. Мать не посмела ослушаться. Кое-как промучившись недели три, мальчик зачах и помер.

Страничка кончилась, Тетя наморщилась – далекая, жуткая, тяжкая жизнь. Узловатые пальцы злобной бабушки, удушающие младенцев. Чужое горе и боль. Люди из поезда, рассеявшиеся в ее комнате. Что они делают здесь? Захотелось сказать им: вон! Что же тут так понравилось Ланину? «Потрясающе!» Да, наверное, он и не читал толком?! Может, это был просто рекламный ход, чтобы она прочла повнимательнее? Или все-таки ход к ней, протянутая рука?

Она задумалась, вспомнила, как Михаил Львович улыбался ей вчера и волновался слегка, предлагая обменяться телефонами... Вздохнула, потеряла глаза и взяла следующую страничку, решив дочитать все до конца, чего бы это ни стоило.

Второй сын тоже родился хилым, но с большей жадной жить – все время пищал и требовал грудь, точно никак не мог наестся. Бабушка и для этого требовала неукоснительного поста дважды в неделю, поминая свой опыт и упрямо повторяя матери, что первенец и так был не жилец, зато саму ее бабушка вскормила вперемешку с морковным соком, и вот выжила же и не болела никогда. Но теперь мать взбунтовалась и перестала различать дни. Отец встал на ее сторону, и бабушке пришлось отступить. Так Илья выжил, а за ним и сестра с двумя братьями, в младенчестве поста не знавшими.

Илья застал еще «темные» времена – с лучиной. Вечером бабушка, зажав лучину в светец, запалила ее на кухне. При таком-то слабом, дрожащем свете она и пряла с Кузьминичной на пару. Но однажды отец Герасим вернулся из города с чем-то объемным, длинным, обернутым в чистую холстину. С величайшей осторожностью он поставил покупку на обеденный стол и созвал домашних. Под холстиной оказалась прозрачная бутылка без горлышка на железной основе. Отец поколдовал немного с бутылкой, сильно пахнуло керосином, затем велел принести горящую лучину, опустил ее в бутылку, и

изба озарилась ровным светом – без трепета и миганья. До чего же он всем показался ярким! После этого стали жить вечерами при новой лампе, которую поставили в самой большой горнице. Только бабушка не изменила старине и пряла по-прежнему при лучине, на кухне.

Жизнь их была вполне крестьянская. Между службами отец Герасим пахал землю, сеял рожь – когда Илья подрос, во всем стал отцу помощником. Мать тащила на себе огород и скотину – в хлеву у них жили две телки, овцы, боров, которого откармливали весь год, чтобы зарезать осенью и понемногу есть потом в праздники. Кормили скотину сеном, которое росло на церковных лугах. Хлеб называли «папушник» и пекли нечасто, только для гостей. Чай пили тоже редко, с кусочком сахара – и чай, и сахар считались роскошью и большим лакомством. Сахарная голова, которую отец привозил с ярмарки, лежала в кладовке, завернутая в синюю бумагу, – отец выносил ее, откалывал острым косарем куски, летели мелкие голубые искры. Вообще наедались досыта редко, особенно голодно было в пост – сплошь гречневая каша да гороховый кисель, от которого все дети мучились животами.

Хозяйство священнику вести было необходимо: за требы платили немного. Просфоры, которые пекла бабушка, продавались в церкви тоже за сушие копейки, на которые не прокормить было семью. Правда, и деньги в то время почти не требовались, в деревне все было свое – свечи топили из свиного сала, валенки валяли из шерсти овец. Из льна ткали холстину, красили, платья и рубахи, сшитые из этой крашенины и носило все село. Только по большим праздникам наряжались в покупной ситец.

Отец Илья часто вспоминал потом, как получил свои первые в жизни кожаные сапоги. По неотступной его просьбе эти сапоги ему сшили «со скрипом». Он радовался, он гордился! да только скрипели они так, что, едва Илюша входил в горницу, взрослые просили его выйти, жуткий скрип заглушал разговоры. Для скрипа в сапог нарочно клалась деревянная щепка, но тут сапожник, видно, перестарался – пришлось вернуться к нему и слезно просить щепку все-таки вынуть.

Отец Герасим держал и пасеку, мед отдавал на продажу на ярмарку, как и ягоды с матушкиного огорода, хотя с пчелами он возился не столько из-за приработка, сколько по любви. Он вообще был добрым хозяином, даже в неурожайные годы снимал урожаи и вместе с тем любил читать. В доме была небольшая библиотека – Загоскин, Лажечников, Марлинский, «История» Карамзина, хотя предпочитал отец Герасим прикладные книги – по сельскому хозяйству, пчеловодству, выписывал и два журнала: «Сын отечества», а затем и «Православное обозрение», который считался из православных журналов лучшим – для сельского духовенства, склонного к увеселениям гораздо более грубым, все это было редкостью.

Впрочем, и судьба моего прадеда тоже сложилась необычно. Был он из крепостных господ Нарышкиных, круглый сирота, мать его умерла родами, повитуха в тот день...

Тетя подняла глаза: нет уж, это она точно пропустит. И она проскользила взглядом еще две странички – физиологические подробности родов, с несколько раз повторившимся словом «кровь», жизнь Гераськи, будущего отца Герасима, который, потеряв мать, а вскоре и отца (тот провалился в прорубь), поселился у бездетного священника соседнего села Голубева, приглянулся за сметливость владыке, приехавшему как-то в село служить, был послан владыкой в бурсу. Затем женился на поповской дочке, получил приход, сам начал служить, в свой срок

отправил в Переславльскую семинарию старшего сына – Илью, где тот стал лучшим и был рекомендован в Московскую духовную академию – да-да, ту самую, в которой и сейчас учат на священников. Тетя начала читать внимательнее.

Приехав в Лавру, Илья по обычаю представился старенькому ректору, встретившему его в длинной темно-синей рясе, успешно прошел все экзамены, медосмотр и вскоре уже праздновал на Генеральной свое зачисление на казенный кошт.

В Академии Илью поражало все – и новые знакомства, и близость преподобного Сергия, молебен с акафистом, умилительно певшийся братией у его раки, и крепость существующих здесь традиций. На фоне дерганого ритма семинарии, множества бестолковых и часто противоречащих друг другу установлений, которые зависели от высших (и вечно менявшихся) соображений начальства, в Академии все было продумано и делалось, как заведено – по расписанию ели, учились, спали, читали, гуляли. Свои правила царили в библиотеке и номерах студентов, но в этом не было слепой жесткости системы, а был порядок.

С особенным облегчением Илья узнал, что в Академии нет общего утреннего правила и подъема в полшестого утра, что неукоснительно соблюдалось в Переславле. И кормили тут вкусно, сытно – обед из трех, ужин из двух блюд: суп, в непостные дни, даже на мясном бульоне, на второе давали и котлеты, и мясо, на третье – пирожки с кишнецом, кисель с ситным. После семинарского горохового супчика да каш здесь Илья каждый раз шел в трапезную, как на пир. По воскресеньям к студентам являлся седобородый старичок-сбитенщик, житель Сергиева Посада, Максим Степаныч. Многих нынешних архиереев и архимандритов он помнил вечно голодными юношами, покупавшими у него медовый напиток, который старик тут же и варил в большом луженом самоваре красной меди. К сбитню прилагался московский мягкий калач – все вместе стоило пять копеек. Грязноват был самовар, мутны стаканы, но все были рады лакомству, и народ вокруг всегда толпился.

В первые же дни Илья сблизился с соседом по комнате – Арсением, приехавшим в Академию из Костромы. Арсений был на два года старше Ильи, год преподавал в Костромском училище и уже сейчас ясно видел свое будущее: монашество, ученые занятия, а там как Бог даст.

Илья ничего про себя пока не знал, не понимал, глядел во все глаза и только впитывал.

Долго выбирал между богословским и историческим отделением, записался в конце концов на историческое – и не пожалел! Ключевский, Лебедев, Субботин, Голубинские – каждый из лекторов оказался интересен. Вообще в учебе, по сравнению с семинарией, гораздо меньше стало тупой долбежки, профессора желали не заучивания, а понимания, и совершенно иначе относились к ученикам – с мягкой любезностью, вниманием, без семинарского солдафонства и унижений.

И вот ведь что: каждый из преподавателей был личностью. Всеобщий любимец, кротчайший Дмитрий Федорович Голубинский, читавший им естественно-научную апологетику. Важный, громогласный, но внимательно вникавший в нужды студента инспектор Сергей Константинович Смирнов – он приходил на лекции греческого в никогда не виденном Ильей жилете, и жилет этот нравился Илье чрезвычайно. Хотя настоящим франтом был другой профессор, преподаватель истории и раскола Николай Иванович

Субботин, он являлся в аудиторию в костюме с иголки и так и лучился чистотой! Худенький в рыжем парике профессор словесности Егор Васильевич Амфитеатров, тихим, неторопливым голосом рассказывающий о пушкинском «Борисе Годунове». И, конечно, сам ректор, Александр Васильевич Горский, библиотекарь, архивист, собеседник митрополита Филарета, обладавший не только ученостью, но и сердцем. Студенты звали Горского за глаза «папашей», иногда и «папашкой», не чаяли в нем души, впрочем, и язвительные шуточки, на которые Горский был мастер (особенно охотно он высмеивал невежество), цитировали со вкусом. Илья видел его только несколько раз – говорили, что «папаша» сильно болен.

Все готовились к Покрову, храмовому академическому празднику и дню публичного акта, на который, как обычно, ждали епископа, выпускников, гостей из Москвы. Но за три дня до Покрова Горский скончался.

Академия, от профессора до первокурсника, рыдала. Горский был ректором с 1862 года, за тринадцать лет насадив здесь аскетическую и вместе с тем творческую атмосферу мужского ученого братства. И вот все рушилось. Все повторяли уныло, что никогда уже не будет Академия прежней.

На место «папаши» заступил Михаил Лузин, автор Толкового Евангелия – полный, хромой, нелепый. Дурной ученый. Компилятор! Как понял со временем Илья, это было совсем не так, но тогда это дружно повторяли все. Хотя преподавал отец Михаил совсем неплохо и в академическом отношении делал необходимую, пусть во многом и черновую работу – вводил в оборот русской богословской науки основы западной апологетики – однако после блестящего, эрудированного, глубокого Горского – кто показался бы не дурен? Молодым горевавшим по «папаше» сердцам было не до выяснения заслуг отца Михаила перед российской библеистикой.

И ему, прежде рядовому профессору, теперь не прощали ничего – ни хромоты, ни обкромсанных лип в саду, ни падающего с носа пенсне, ни трубно-гомоющего сморканья на лекции, ни протяжного, замогильного с легким дрожанием голоса при возгласах на службах. Слышал бы отец ректор, как на дружеских пирушках его изображают ученики и какой леденящий при этом поднимается вой! Лекции его по Новому Завету тоже казались невыносимы – Лузин читал их по желтым и, как всем казалось, пыльным бумажкам. Никто не оценил, что кроме лип новый ректор ни в чем не пытался нарушить прежние обычаи, напротив, был хранителем памяти Горского и его установлений. Нет и нет. И когда через два года отца Михаила перевели в Киев, также на должность ректора, Академия испустила облегченный и радостный вопль.

Между тем Илья учился. Как обычно прилежно, не подымая головы. Выучил неведомый прежде немецкий, подучил французский, все больше увлекаясь церковной историей и критическим методом профессора Евгения Евстигнеевича Голубинского.

Голубинский был некрасив, неэффектен. Торопливо входил в аудиторию в выношенном вицмундире, с вытертым портфелем под мышкой – низкий, крепкий, с рыжей, вечно взлохмаченной бородой. Войдя, профессор растерянно озирался, будто сомневался, в нужное ли место пришел, скользил взглядом по немногочисленным студентам – популярным лектором он никогда не был. Вынимал носовой платок, не всегда чистый, вытирал очки, водружал их на нос. Несколько мгновений отдыхал, уставясь в одну точку. Наконец, точно вспомнив, что все-таки надо начинать, суетливо расстегивал портфель,

вынимал тетрадь. Сбивчиво, постоянно добавляя «эээ» и «как его», говорил. Слушать его было тяжело, но стоило вслушаться... Боже! Что он говорил! Илья был сломлен, потрясен – чуть ли не все, в чем он уверен был прежде, оказалось «благочестивым преданием», не подтвержденным фактами. Не мог апостол Андрей, да и не нужно ему было это – идти к Днепру и благословлять воздух, пустые горы – те самые, на которых позднее появился Киев. Никакие послы к князю Владимиру не приходили, не рассказывали ему про небесную службу в Святой Софии – и это оказалось позднейшей легендой. «Наш народ – историк самого невысокого качества, – бубнил Голубинский. – Политические интересы, а не верность историческим фактам водили рукой летописцев и составителей житий».

И уже ничто не смущало Илью – ни неряшливость профессора, ни дурная его дикция, ни запутанность речи. У него одного он желал учиться. Чтобы знать правду и не доверять больше сказкам. Но «Евсюха», как прозвали его студенты, в учениках не нуждался. И даже терпеть не мог учеников! Больше всего профессор желал уединения в кабинетной тиши и скрупулезного изучения источников, предпочитая «жизнь тряпичника» и «копание в хламе», как он сам это называл, преподаванию, научному руководству... Но стать руководителем кандидатки все-таки согласился, хотя и сквозь зубы.

Илья написал кандидатскую о царевице Димитрии, но защитил ее не без трудностей – его засыпали вопросами, обвинили в том, что он слишком увлекся реконструкцией реальных событий и портретов исторических лиц, невзирая на то, что эти лица и события давно стали достоянием церковной истории. Илья, в частности, поднимал в своей работе вопрос: для чего Борису Годунову, умному, просвещенному и трезвому политику (доказательства этого также приводились в работе), понадобилась гибель мальчика, который вовсе не являлся ему политическим конкурентом – силы их были неравны. Зачем же Годунов, властитель не только умный, но и крайне расчетливый, пошел на убийство, ему невыгодное, рушившее его репутацию?

Лишь заступничество Голубинского на защите оградило Илью от неприятностей. Однако несмотря на хорошее окончание Академии (он заканчивал ее пятым), именно после защиты в репутации его появился оттенок неблагонадежности. Он тяжело это переживал.

Илье было бы проще, будь сам он, как Голубинский, убежден в собственной правоте. Но к концу последнего курса все сильнее его терзали сомнения. Если поначалу веселый дух разрушения подделок, наслоений, недостоверных слухов, всей этой накопленной веками мишуры придавал только вдохновения и сил, то к концу учебы Илья осознал вдруг, что вместе с знаниями к нему пришла и печаль – оскудела, обмелела его вера.

Все реже бывал он на службах, все равнодушней становился к обрядовой их стороне. Обнаженная жесткой рукой критического метода церковь стояла перед ним, точно голая. Предания, пусть ложные, пусть неточные, но и они составляли ее суть, были частью ее содержания, мягкими покровами, делавшими пребывание в ней уютным. Теперь же Илья знал, как много продиктовано в церковной жизни, да в той же канонизации святых, одной сиюминутной политической выгодой, не имеющей со Христом, Его жертвой и учением никакой связи. Но ведь именно этим, «назначенным» из чьей-то корысти святым он и должен молиться, петь в храме акафисты, читать каноны. Как? Если даже не уверен в их святости? Между мальчиком царского звания,

упавшим на нож случайно, и заколотым из зависти простиралась пропасть, но, с другой стороны, почему? Хотя в конце концов, возможно, это было не так и важно, при каких обстоятельствах он погиб – Артемию Веркольскому довольно было оказаться убитым молнией, чтобы стать святым. Чудеса – вот доказательство. Но Илья знал теперь и цену церковным чудесам, знал, что они могут оказаться результатом экзальтации, нервного потрясения и просто плодом богатого, пропитанного мифологическими фантомами воображения летописца.

Как с такими мыслями становиться священником, как служить? Как примирить научную истину с церковной, страх Божий с поиском правды? Бог существовал, но церковь Его выдумали. Нет, она была, но кончилась еще в апостольские времена... И он не хотел иметь с ней ничего общего. Но пока держал это в себе.

Илью распределили почти в родные края – в Ярославскую семинарию. Стояло лето, он должен был ехать сначала домой... и медлил. Что скажет он отцу, который, конечно, захочет привлечь его к службе? Неужели притворяться? Он собрал вещи, сложил книги и вывез все в нанятую в Сергиевом Посаде каморку одноэтажного деревянного дома. В ней он и сидел целыми днями, пытался записать свои сомнения на бумаге, писал и рвал, едва прикасаясь к пище и только глотая чай, приготовленный хозяйкой-вдовицей. Она с каждым днем все сильнее беспокоилась о странном своем жильце. По вечерам Илью навещал соученик по Академии и сотаинник, инок Арсений, тот самый, с которым они познакомились еще при поступлении и стали друзьями. При постриге Арсению сохранили то же имя. Жизнь его складывалась пока благополучно: из Академии он вышел вторым, его оставили профессорским стипендиатом, с осени Арсений должен был начать преподавать.

На всю тоску друга Арсений возражал только одно: «Вкусите и видите». Вкусите и видите: таинства, живая молитва – и только они – делают человека свидетелем Царства Небесного, дают ему опыт жизни духовной, жизни с Богом.

Другого нет, но вкусить, видеть возможно, идя путем аскезы, работая над собой и своим сердцем, что, кстати, не менее увлекательно, чем занятия историей. И не то что нельзя, но и совершенно невозможно подчинять веру науке – истину открывает не наука, а все тот же опыт духовной жизни. Арсений говорил вдохновенно, и пока Илья слушал его, он во всем с ним соглашался, и сам начинал склоняться к монашеству. Ступить на путь самоотречения и отправиться скромным иноком хоть куда – вот что в нем зрело.

Остальные пути представлялись гораздо более безнадежными. Ехать в Ярославль, учить дубоголовых бурсаков, погружаться в душный, безотрадный семинарский быт не хотелось совсем.

Тете снова стало тяжело и немного скучно, начался новый круг описания кризиса, и она бегло проглядела страничку, другую – кажется, Арсений все-таки уговорил друга ехать в Оптину, хотя Илья в старцев не очень-то верил. Взгляд ее зацепился за «невесту».

Мог ли он предположить, что обретет себе в путешествии невесту?

Лизавета Лавровна, супруга ярославского купца второй гильдии Сергея Парменовича Сильвестрова, была особой чрезвычайно набожной, а после чудесной приключившейся с ней истории сделалась к тому же горячей почитательницей оптинского старца Анатолия. Отец Анатолий Зерцалов,

скитоначальник, был не настолько популярен, как отец Амвросий, но сложилось так, что Лизавета Лавровна, не попав однажды к отцу Амвросию, который в дни ее приезда сильно болел и не принимал, отправилась к отцу Анатолию. Тот поговорил с ней – и с той поры она ездила только к батюшке Анатолию и обо всем с ним советовалась.

В Оптиной ее хорошо знали, помнили о щедрых ее даяниях, селили в гостиничном номере из лучших, приставляли к ней послушника – словом, обходились как с желанной и любимейшей гостьей.

В тот год Лизавета Лавровна взяла с собой в поездку и младшую дочь, двадцатилетнюю Анну Сергеевну. Весной Анна Сергеевна отказала второму подряд жениху, отец начинал гневаться, но и неволить дочь не хотел, времена были не давешние, силком выдавали все реже. К тому же старшие его дети – оба сына и дочь – уже вступили в брак, в совершеннейшем согласии с отцовской волей. Все три союза как прямо, так и косвенно способствовали приумножению капитала Сергея Парменыча. На Аняте, отцовской любимице, синеглазой и самой красивой из детей, можно было передохнуть, позволить ей выбрать, кого захочет... Но она кобенилась и двоим – один лучше другого! – дала от ворот поворот. А недавно еще сказала матери – и не в шутку, со всею серьезностью! – что желала бы уйти в монахини. Что было совсем уж полной и глупой ересью. Сергей Парменыч заторопился и заторопил жену: пора, пора выдавать девку замуж, чтобы повыветрилась из головы ахинея, хоть уж и за кого.

Лизавета Лавровна взяла Аняту с собой в Оптину. Но с опаской думала: а ну как и правда скажет батюшка – в монастырь, да хоть в то же Шамордино, оно рядом с Оптиной – и случаи она такие знала. Что ж, такова, значит, воля Божия. Но домой тогда лучше не возвращаться.

Илья увидел Аняту и мать после всенощной в общей зале гостиницы, где они мирно пили чай с сухариками. Арсения с ним, весьма промыслительно, не было, он побежал после всенощной здороваться с приятелями. Давно уже Илья запретил себе лишний раз смотреть на женщин и, казалось, совершенно убедил себя – смотреть-то там не на что, но тут... Оттого ли что был он растерян и пребывал в смятенных чувствах, оттого ли что Анна Сергеевна и в самом деле была необыкновенно хороша собой, а только в этот самый первый вечер Илья, вопреки и другим своим правилам (не говорить подолгу с незнакомыми, не болтать!), вдруг открылся, рассказал Лизавете Лавровне и Анне о себе, где родился, как учился, а под конец признался, что думает сейчас, куда податься дальше. Тяжко ему было в тот вечер, даже медовое оптинское пение на всенощной не уврачевало ран, но за чаем он разговорился, ожил и радовался, что отпустило. Анна Сергеевна, в отличие от матери, которая больше соблюдала приличия и заметно уже позевывала, слушала его чутко. Глядела на него синими глазами, да так чисто, а вместе с тем весело. И до того веселье это было приветливое, что дважды за вечер Илья поймал себя на дикой мысли: с этой и жизнь можно прожить.

Лизавета Лавровна рассказала между прочим, что завтра они идут к отцу Анатолию, в скит, поведала о чудесах, что случились с ней по его молитве, и Илья, хотя накануне говорил Арсению, что поживет «так», времени у старцев отнимать не будет, сейчас же сказал, что собирается к старцу тоже. И как раз, вот совпадение, прямо завтра.

На следующий день Илья и паломницы из Ярославля около часа провели в приемной старца рядом, Анна Сергеевна читала Псалтырь, Лизавета Лавровна перебирала четки, Илья пребывал в задумчивости – они почти не говорили. Мать с дочерью зашли первыми, вышли минут через двадцать, Лизавета Лавровна плакала, Аня явно была сильно взволнована, но келейник уже звал Илью.

В келье слегка пахло чем-то кислым, знакомым с детства, как в крестьянской избе, но еще сильнее – яблоками. Гора яблок высилась на столе, прямо на книгах. И под столом Илья разглядел два завязанных холщовых мешка – август, посетители несли старцу плоды из собственных садов. Старец – высокий, грузный, но, как показалось Илье, совершенно обыкновенный старый священник – сидел перед ним на лавочке и пригласил его сесть рядом.

«Зачем я пошел к нему?» – мелькнуло у Ильи, но вскоре уже он рассказывал, стараясь говорить покороче, о своих сомнениях и вопросах.

В ответ на его слова о неясности будущего пути отец Анатолий сказал, что ученых занятий оставлять совсем не надо, нужно только направить свои знания на «служение обыкновенному человеку». Что это значит, Илья тогда не понял, но почувствовал, что этот совсем простой в обращении и словах батюшка за несколько минут как-то уже сумел сделать так, что сердце Ильи обратилось в птенца и теперь трепещет и ловит каждое его слово.

Услышав про охлаждение к церкви, отец Анатолий поднялся, обнял юношу за плечи, вместе с тем и поднимая его, указал ему на иконы, плотно висевшие в его келье, и произнес: «Да ведь она нам мать. Когда ты молишься Богу, так и надо, как ты сказал, так и надо – ты и Он, больше – никто, никого и ничего между вами, ты и Он. Но трудно одному. Ведь если дождь польет, град посыплет? Вот тебе и крыша над головой, и стены, и таинства. Она помогает устоять, она мать».

Тысячу раз слышал Илья все это и давно не воспринимал всерьез, но тут с изумлением ощущал: Покров, который утратил он в своих ученых занятиях, отец Анатолий запросто, в несколько минут вернул ему! «Давай помолимся, Илюша», – говорил старец. И молился тихо, тяжело опустившись перед иконами на колени. Илья тоже стоял на коленях рядом, но уже только плакал. «Любовь, вкусите и видите, любовь Божия – вот она какая – вот что», – неслось у него в голове, но потом пропало и это, присутствие Божие заполнило маленькую келью и не оставило места ни для чего другого.

Дерево росло прямо из угла кровати, возле ног – разве было оно здесь прежде? Дуб, точно – с первыми зелеными листьями, но разве не осень? Тетя очнулась... дрема заволокла очи, вот что... Коля все спал, так и лежал неподвижно, посапывал, уткнувшись носом в подушку. На улице уже сияло солнце, послышались шорохи на дворе – встал Колин отец и сразу взялся за какую-то работу. Она увидела, что прочитала уже больше половины, подумала, что сейчас уже кончится этот украденный часик, и заторопилась – дочитать, закончить!

Илья вернулся к себе в номер, точно слепой, совершенно забыв о красивой соседке, молился полночи, затемно отправился на полунощницу. Каждое слово службы живым пламенем откликлось в нем, и хотелось молиться еще, дальше, подставляя душу поближе к этому очистительному божественному огню.

В трапезной за обедом, на женской стороне, он увидел Анну Сергеевну и вспомнил с болью, что забыл спросить у отца Анатолия благословения на

иночество. Тот, впрочем, пригласил его еще приходиться. Тем же вечером Илья отправился к старцу снова. На этот раз батюшка говорил с ним совсем недолго. Только улыбался чуть, приговаривая непонятно: «Ну, вот, Илюша, видишь, как...» Видел, Илья видел теперь и знал, что никуда из Оптиной не пойдет. Попросил благословения на иночество, но отец Анатолий, глянув ему в глаза, отвечал с тихой усмешкой, что высок путь монашеский, да ведь кому-то и детей надо рожать, и учить этих самых детей! Так что «в девках сидеть больше нечего, надо жениться и идти в ученые». – «Но ученое же у нас монашество?» – «В ученые попы», – уточнил отец Анатолий и уже хотел отпустить Илью, насыпая ему в горсть яблоки, как и вчера, но вчера он этого даже не заметил и долго вспоминал потом, откуда в карманах яблоки.

– Но где же мне искать невесту? – растерянно спросил Илья, не желая еще уходить, и услышал, что вот как раз невесту-то ему будет найти «проще пареной репы». «Женись на той, какая первая понравится, – добавил старец, – долго не думай. На первой, что примет!» Проймет? Но отец Анатолий уже ласково его выпроваживал.

Интересно, что с Лизаветой Лавровой и Анютой старец говорил совершенно в том же духе, повторив несколько раз, что засиживаться Анне в девках не стоит и о монастыре речи тут нет, но и искать богатого жениха не нужно. «На ваш век, Лизаветушка, хватит», – видимо, подразумевая капиталы Сергей Парменыча, сказал старец. И уточнил, что выходить замуж следует за первого же, на кого дочь всерьез положит глаз. А дальше уж Бог благословит.

Вечером паломники снова встретились в гостинице. Словоохотливая Лизавета Лавровна не преминула заметить, что Илья вчера куда-то пропал, а они ждали его чай пить, но что сегодня он «будто отмытый», присовокупив, что вот она, благодать старческая. Молодые люди переглянулись, улыбнулись друг другу и снова проговорили до позднего вечера. Следующий день они провели уже неразлучно, вместе посетили скитскую службу, источник, а перед самым отъездом явились к старцу вдвоем. Он благословил их на супружество, с каждым поговорил отдельно, а потом и двоим давал общие наставления и предупредил их о чем-то, отчего оба снова вышли заплаканные.

Спустя два месяца раб Божий Илья венчался Анне, а она ему. Венчание происходило в церкви святого Власия, в Ярославле.

Сергей Парменыч, торговец мукой и крупами, поначалу считал это замужество пустой жениной причудой и возражал. Дело было неслыханное: с поповичами Сильвестровы от века не роднились, да к тому же ни кола у жениха ведь не было, ни двора. Но любимая Анюта выглядела по возвращении из Оптиной такой счастливой и словно бы распрямившейся. А главное, совершенно перестала и поминать об уходе в монастырь. Познакомившись с Ильей и поговорив с ним немного, Сергей Парменыч махнул рукой и согласился. Хотя до конца дней своих посматривал на зятя свысока. Но на приданое все-таки не поскупился, купил дочери деревянный дом с садом, террасой и мезонином. В нем молодые и стали жить-поживать да детей приживать. Этот дом и запечатлен на фотографии.

Илья вскоре был рукоположен в дьякона, затем – в иерея и начал служить – в Успенском соборе. В 1918 году собор бомбила, но не разбомбила Красная Армия, в 1937 году он был взорван, семьдесят лет на месте его росли деревья, пока к 1000-летию Ярославля не начали строить новый собор – неузнаваемый, на прежний совсем не похожий. В чем же смысл

«восстановления»? В размерах! Новый крупнее, и в нем просторно и хорошо будет служить архиереям. Русь все та же! Но не буду отвлекаться.

Анна Сергеевна окончила Мариинскую ярославскую гимназию – отдавать дочерей в гимназию у состоятельных купцов стало принято – и вполне могла оценить образованность мужа, больше того: любовь его к чтению и ученым занятиям вызывала в ней глубокое уважение. Сама она тоже любила читать – русскую классику, любимыми ее писателями были Лев Толстой и Лесков, из поэтов – Алексей Константинович Толстой и земляк – Некрасов, многое она знала из него наизусть.

Анна Сергеевна имела, что называется, «детскую веру», не задававшую вопросов и во всем доверявшую Богу. На фотографии она единственная сидит – на невысокой табуретке, возле батюшки, в длинном сером платье: черты белого лица ровные, совершенно правильные, забранные в пучок волосы все еще темны, но более ничего сказать невозможно. Матушка, несмотря на очевидную свою красоту в молодости, на фотографии получилась бледней и невыразительней других, точно к тому времени вся растворилась в муже и детях.

Это не мешало ей проявлять твердость и волю в ведении хозяйства, дом держался ею. Был у нее прекрасный сад, в котором росли яблони, груши, сливы, вишни, и все созревало, а потом варилось, сушилось, хранилось в погребе до зимы. И цветы матушка очень любила, возле дома цвели клумбы, а в доме устроена была специальная горка, на которой росли герань, мирты, столетник, фикус, драцены. По окну вился по невидимой натянутой леске виноград. Однажды кто-то из прихожан, посетивший Святую землю, подарил отцу Илье громадную шишку кедра Ливанского. Матушка вынула из шишки несколько орешков, посадила в горшок и вывела два деревца, которые потом собственноручно пересадила в сад.

Обретя счастье в семейной жизни, отец Илья, как и заповедал ему старец Анатолий, не оставил занятий историей и старался подчинить их службе «обыкновенным людям». Регулярно писал просветительские тексты в приложение к Ярославским епархиальным ведомостям, занимался краеведением. Занятия наукой это заменило ему не целиком, но годы и новые заботы примирили батюшку со многим.

Он выписывал из столицы «Исторический вестник», «Русский архив», газету «Русские ведомости», преподавал в Ярославской семинарии, Мариинской гимназии, некоторое время – и в Демидовском лицее, был уважаем прихожанами и учениками, но в среде духовенства оставался одинок – все близкие приятели его были не из священников, а из светских историков и краеведов.

На этом история отца Ильи заканчивалась, была она самой длинной, дальше, как увидела Тетя, следовали рассказы про его сыновей, и она остановилась, задумалась. Откуда Голубев узнал все это? Значит, кто-то из его героев дожил до того, чтобы рассказать ему про скрипучие сапоги, сбитенщика в Лавре, старца и молитву в яблочной келье, горку с фикусом и драценами? А если этот неведомый учитель из Калинова все это сам сочинил? Нет, невозможно, вот же фотография. Кто там следующий, ага, судя по всему, вот этот белокурый крепыш с открытым лицом.

ФЕДЯ (1888 – 1937)

Рядом с батюшкой на фотографии, на ступень выше его, стоит старший сын. Только ступенька делает Федю выше отца, был он крепким и невысоким, породой и осанкой в купеческую родню. Федя снят в семинарской форме на пуговицах, которую надел специально для торжественного случая. Смотрит серьезно, ясно. Но даже сквозь выцветшую бледность фотографии угадывается румянец на щеках. Федя обладал отменным здоровьем, отлично плавал, быстро бегал, катался на велосипеде. Был он самым добрым и открытым в семье и всегда оставался любимцем матушки, от которой унаследовал цельный и неунывающий характер. Федя единственный из сыновей последовал стопами отца и пошел в духовное звание.

Так же, как и отец Илья, путь свой он начал в духовном училище, правда, ярославском, куда поступил сразу во второе отделение. Азы наук Федя прошел дома, под руководством молодого и веселого дьякона Валериана Сидельникова, бурно хохотавшего над Федиными ошибками в латыни, но объяснявшего доходчиво и просто.

После живых уроков Сидельникова поначалу скучно и тяжело показалось Феде в училище. Телесные наказания были давно отменены, но дух в бурсе царил прежний: процветала зубрежка, главным рычагом воздействия на учеников оставались унижение и страх. Между преподавателями и сидевшими за партами мальчиками простиралась пропасть. В минуты особенно сильного волнения Федя, с детства еще, начинал слегка заикаться, отчего вскоре и получил прозвище *Valbus*. Был он физически крепок и мог за себя постоять, так что сильно его не донимали, и все-таки обидное прозвище не отклеилось от него до конца училища. Душа у него была нежной, и в первый год Федя чувствовал себя всегда готовым к обиде, боли, ходил, что называется, с опущенной головой. Тогда-то, десяти лет от роду, он и понял цену выражения «камень на душе». Этот камень ложился на душу, едва он отворял дверь училища.

Ни отцу, ни матери вникать во все это не приходило в голову, да он и сам никогда не нашел бы слов рассказать про училищную скуку, тяготу и обиды, тем более что отец так брезгливо и так удивленно морщился, когда Федя приносил плохие отметки, что вернее было молчать. Еще бы: сам-то батюшка всегда был лучшим! Федя это знал, знал, но не мог заставить себя учиться хорошенько – не так трудно ему было, как скучно. Так все бы и продолжалось, если бы не странная, мимолетная встреча с Архангельским, учителем русского языка.

Наступил последний перед каникулами день. Занятий в училище уже не было, оставалось только сдать в библиотеку книги и получить задание на лето от этого самого Архангельского, который был Федей сильно недоволен, перевел его в следующий класс с низкой оценкой и при том лишь условии, что все лето Федя будет заниматься.

В преддверии рекреации мать велела Феде одеться понаряднее. Выдала ему свежую рубашку и новый, только что сшитый люстриновый пиджак, с большими стеклянными пуговицами. Несмотря на близящуюся свободу, Федя был невесел. Медленно шел он по темному, пахнущему сыростью коридору первого этажа училища и думал, что задание наверняка будет большое, нудное, вот и сиди все лето, не подымая головы. И тут солнечный луч, как-то пробравшийся в плесневелую коридорную тьму, заиграл на его пуговицах. Пуговиц было шесть, и шесть ровных кружков света вспыхнули и заплясали

на желтых стенах. Все забыв, Федя стал двигать кружками по стенам, вниз и на потолок. Чуть подпрыгнул – и солнечные зайчики так же резво скакнули вверх! Сдвинулся в сторону – и послушно сдвинулись кружки... Как вдруг чья-то фигура выросла прямо перед ним. Архангельский! Темнобородый, с черными быстрыми глазами, он, как видно, давно уже наблюдал за ним. Страшно сконфузился Федя, сейчас же принял скромный вид, опустил глаза. Но учитель в ответ только засмеялся! И не сердито, а весело. Отсмеявшись, поманил Федю поближе, протянул ему грамматику: «Почитай летом эту книжку». Тут Архангельский снова улыбнулся, положил ему на голову ладонь, провел по коротко стриженным волосам и отпустил с Богом.

Это и было заданием на лето, которого Федя напрасно так боялся. Книжка оказалась хороша, с интересными историями, картинками. И нежна была учительская ласка. Камень, так долго лежавший на душе, скатился и пропал вовсе. Точно Федя вдруг прозрел. С той поры он полюбил русский язык, особенно письменные задания, и сочинения его стали первыми в классе. Понравилась ему и география, и история, хорошо он стал успевать по математике и по языкам – словом, учился все охотнее и лучше, пока не добился того же, чего в свое время и отец Илья, – отправился учиться в Духовную Академию, где помнили еще его отца.

Правда, Академия была уж не та, Феде пришлось быть свидетелем ее разгона – на глазах его увольняли лучших преподавателей. Он бежал за утешением в Зосимову пустынь – к игумену Герману и иеросхимонаху отцу Алексию, «принявшим его в свою любовь», как писал он в письме отцу. Отец Алексей, участвовавший потом в избрании патриарха Тихона, тогда еще не такой знаменитый, благословил Федю принять постриг, что он и сделал, получив имя Серафим. По окончании Академии иеромонах Серафим стал насельником московского Чудова монастыря, уже накануне революции сделался игуменом, а вскоре после того пошел путем многих, путем арестов, ссылок, невыносимых страданий. Он погиб на Соловках в 1937 году. Помнившие его в один голос говорили о главном даре отца Серафима – благоговении.

Один человек, видевший его в ссылке, предшествующей Соловкам, так и написал о нем в своих записках, опубликованных уже после перестройки: «Услышав, как служит отец игумен, на полянке, в лесу, я впервые всем сердцем ощутил страх Божий. Я воочию увидел – слушая, как давал он возгласы, как читал Евангелие, – что этот страх есть такое. Любовь и трепет. Так показал мне батюшка, и так я с тех пор и верю». Тот же автор пишет и о том, что отца Серафима никогда не видели обозленным, даже в самых жутких, унижительных и грязных ситуациях он умел хранить достоинство.

Лишь сестра его, моя мама, Ирина Ильинична Голубева доподлинно знала, как погиб брат, но не открыла этого и на одре смерти. «Слишком страшно! Нет, не надо повторять». В жизни она пересекалась с Федей нечасто, он ведь был старше ее на 18 лет, но именно о нем говорила со слезами, повторяя: «золотое сердце», «святой человек».

МИТЯ (1890 – 1918)

Рядом с Федей – Митя, высокий, с темно-синими (как было известно) материнскими глазами, с мягкими русыми кудрями, еще не состриженными:

фотографию делали летом. Митя был самым красивым в семье, но и самым озорным, бедовым. «Шило в заднице», – говорила про него моя бабушка Аня.

Вот и на фотографии он смотрит мимо камеры, всем своим видом показывая: вот только отпустите меня! Мигом рвану на Волгу, ловить с ребятами лещей и колюшку, искать под камнями раков.

Митя был одарен артистическими талантами – прекрасно пел, по требованию отца на праздничных службах всегда стоял в церковном хоре, хотя сам это не любил, это было мукой и скукой – распевать целую бесконечную службу да еще ходить на спевки. Митя и рисовал хорошо, особенно любимых своих солдатиков, а еще необыкновенно похоже изображал их няню, отца дьякона на именинах, торговца булавками, медведя, объевшегося медом. Отец Илья этих кривляний не поощрял, всегда обрывал их очень резко. Но Митя не обижался, он с детства бредил подвигами и мечтал стать вовсе не артистом, а военным, непременно полководцем, над изголовьем у него висел вырезанный из журнала портрет Суворова, у кровати вечно шагали и сражались оловянные солдатикки. Был он первым драчуном среди мальчишек. И страстно завидовал ярославским кадетам, завел даже себе среди них приятелей и верить не хотел, что жизнь их совсем не такая праздничная, как ему представлялось.

Начитавшись про переход Суворова через Альпы, Митя раздобыл охотничьи лыжи и катался на них зимой. Кататься на них было неудобно, но он терпел – тяжело в ученье... В метель делал себе парус за плечами: крепил кусок ткани на двух перекрещенных палках – и мчался вперед. С лыжами Митя пижонил, мальчишки над ним посмеивались – лыжи (к тому же не охотничьи, а обычные) были барской причудой, братья катались по-другому – к валенку привязывалась дощечка, другой ногой нужно было толкаться – получалось что-то вроде зимнего самоката.

Окончив училище и семинарию, Митя успел поучиться и в их Демидовском лицее. В священники идти Митя отказался. Отец с этим смирился, возложив все надежды на верного Федю. Но и в лицей Митя поступил тоже, кажется, оттого лишь, что учиться там особенно было не нужно, в народе про Демидовский говорили, что лучше всего там учат на бездельников. Из уст в уста передавались истории о том, как однажды из заносчивого Петербурга в лицей пришла корреспонденция с якобы случайно допущенной ошибкой. В адресе значилось: «Демидовский юридический музей».

Еще в семинарии Митя примкнул к кружку самых беспокойных учеников, писал под псевдонимом сатирические заметки в рукописный журнал, который тайно собирался в снятой комнате одного из мальчиков. В журнале критиковались семинарские порядки и самые косные преподаватели, читать его давали только самым надежным товарищам.

Отец Илья знал о настроениях сына, не раз говорил с ним, повторял, что бунт – это гибель невинных людей, миллионов младенцев, стариков, женщин, реки крови. Одни погибнут, но жизнь от этого не станет справедливее, он приводил ему примеры уже бывших в России бунтов и их последствий... ненадолго Митя с ним соглашался. Пока не поступил в Лицей, где и стал законченным революционером. Подтолкнула его к этому одна история, в общем, самая обыкновенная, но в Мите она совершила переворот.

По Поволжью в очередной раз прокатился голод, в деревнях вымирали семьями, не имея помощи ниоткуда. У многих лицеистов родственники жили

в голодающих деревнях и рассказывали жуткие подробности – доходило и до детской проституции за кусок хлеба, и до людоедства. Сидеть сложа руки было невозможно. Но что сделаешь, как помочь тысячам несчастных? Митя с товарищами долго совещались, пока не решили наконец организовать в Ярославском театре благотворительный спектакль в пользу голодающих. Сначала мальчики отправились в театр, но там полный, смуглый антрепренер Коровецкий, недобро поглядывая маленькими глазками, отправил их к губернатору.

Совершенно не сомневаясь в успехе затеянного благородного дела, Митя и двое его друзей на следующий же день с утра пришли к губернатору на прием. Прождали его три часа и наконец были вызваны. Да только по отдельности! Митю вызвали первым.

Дмитрий Николаевич Татищев усадил его в кресло напротив, ласково расспросил, кто его родители, чем занимаются братья, уважительно качал головой, сказав, что отца Илью, конечно, знает, встречался да и читал, но под конец беседы, когда разговор наконец добрался до цели прихода, внезапно сменил тон и произнес металлическим голосом, медленно и ясно: «Никакого голода, молодой человек, в Поволжье не было и нет. Есть только некоторый не-до-род (он так и произнес это слово по слогам, словно бы пытаясь впечатать его в Митину память). Таковы официальные сообщения из Петербурга. Правительству гораздо более известно, что происходит в империи, и оно намного лучше вас, молодой человек, знает, что и когда надобно делать. И запомните: правительство очень не любит, когда молодежь мешается не в свое дело. Подумайте о своих родителях, о своей карьере и о том, следует ли совершать то, за что по головке вас точно не погладят», – с этими словами губернатор выпроводил совершенно потерявшего дар речи Митю восвояси. Митя прошел мимо своих товарищей, сидевших в приемной, молча и все так же, не говоря ни единого слова, бросился к Волге. Долго бродил он по берегу, сжимая кулаки, что-то выкрикивая, только вечером вернулся домой – продрогший, внутренне перевернутый. Рассказал все, что случилось, отцу. Но услышал, что идти против рожна бессмысленно и снова все то же... бунт против системы обречен. Единственное, что мы можем... тихо делать свое дело.

С этого дня начался постепенный отход Мити от семьи.

Он во что бы то ни стало решил переделать этот мир лжи, лицемерия, равнодушия богатых к обездоленым и идти против рожна, переть обязательно! Вошел в марксистский подпольный кружок, порвал с церковью, демонстративно сняв нательный крест и положив его на стол в отцовском кабинете. Отец Илья, обнаружив крест, сказал Мите с усталостью обреченного, что будет хранить его до первого требования. Но Митя креста своего не потребовал назад уже никогда. Вскоре он уехал из родного Ярославля в Рыбинск, затем – в Нижний, везде занимаясь агитацией среди рабочих. Долгое время чудом избегал ареста, но в конце концов был выдан теми же, кому он обращал свои проповеди, просидел около трех месяцев в нижегородской тюрьме и вышел, чтобы заниматься тем же. Домой он не писал, мать вызнавала о нем кое-что через его старых лицейских товарищей.

Революцию Митя встретил в Рыбинске, стал красным комиссаром, затем стрелял по родному городу и церквям во время Ярославского восстания, но недолго. Сохранился протокол его допроса в ЧК, из которого выяснилось, что

сначала Дмитрий Ильич Голубев на стороне красных участвовал в подавлении восстания в Рыбинске, затем как опытного бойца и командира его перебросили в Ярославль подавлять «белогвардейский» мятеж, и он даже стрелял в первые дни по родным церквям и стенам, пока не бежал, оставив отряд. Бежал, как он сам признался на допросе, «не желая дальше сражаться против родных и близких ему людей», но и на их сторону Митя переходить не хотел, поскольку «не разделял их взгляды». Его задержали уже в Костромской губернии, в начале августа, сейчас же препроводили в Ярославскую тюрьму, где вскоре и расстреляли за «предательские по отношению к власти Советов действия».

МАНЯША (1893)

Маняши на фотографии нет, она прожила восемь месяцев и скончалась от пневмонии. Отец Илья, который ждал, не мог дожидаться девочки, после смерти Маняши навсегда ссутулился и стал мягче к людям, но словно бы и равнодушной, вся строгость его, которую испытали на себе Федя и Митя, точно вытекла, ни Грише, ни тем более Ирише, в которой он не чаял души, ее уже не досталось.

ГРИША (1895 – 1916)

С другой стороны от братьев, ближе к матери, стоит Гриша, стриженный, лобастый, очень похожий на отца Илью. Гриша смотрит в объектив внимательней всех – ему одному здесь интересно, как устроена эта блестящая окуляром штука.

Гриша любил все живое – насекомых, жуков, бабочек, ловил их, разглядывал под лупой, начинал делать энтомологические коллекции и ни одной не закончил. И растения Грише нравились, в детстве был он первым помощником матери на ее клумбах. Отец подарил ему микроскоп, он сидел над ним, зарисовывал клетки, вскрикивал от восторга, вообще был увлекающейся натурой. Гриша очень любил Митю, тянулся за ним в чем мог, восхищался, подражал в манерах и, между прочим, тоже был одарен музыкально, хорошо пел и тоже отбывал повинность в церковном хоре. Правда, с большей охотой, чем Митя. У него вообще был легкий характер – уступчивый и мягкий.

В детстве он чаще других возился с младшей сестрой, был ее воспитателем, учителем, рассказывал все, что знал сам. Как называется какая травка, какие животные живут в экваториальной Африке, научил определять по свистку, что за пароход идет. Сиплый, басовитый – «Прогресс». Ровный тенор – «Гоголь». Отрывистый, будто задыхается – «Джон Кокериль». Бас, похожий на «Прогресс», но сипит гуще – «Князь Михаил Тверской». Они соревновались, но Гриша всегда выигрывал – угадывал лучше, Ириша была не так музыкальна.

В начале 1915 года Гриша будто решил сыграть в боевого, вечно настроенного на войну Митю, ушел на фронт добровольцем, правда, не воином – братом милосердия, и погиб летом 1916 года под белорусскими Барановичами. Незадолго до смерти он получил Георгиевский крест 4-й степени – за вынос с поля боя двух офицеров.

Но пока все живы.

Вот и смешно выпучившая глаза девочка в облаке светлых (на самом деле рыжих) волос, с белым бантом-блином на голове, в белом кружевном

платье – моя мама. Любимица батюшки, который столько лет молил Бога и матушку. «Девочку-девочку» – точно заклинал ее, заколдовывал. И вымолил себе кудрявую умницу, рыжеволосую, сероглазую – легкая батюшкина рыжина вспыхнула в дочке ярко, но лицом она пошла в мать – прямой ровный нос, высокий лоб, строгий подбородок. Батюшка и сам не отдавал себе отчета, почему хочет дочку. Но время показало, как он был прав: кровавые потрясения наступившего века девочек заделали меньше.

Ирина Ильинична родилась за два года до начала нового столетия, ею единственной приумножился голубевский род. На фотографии она сидит на коленях у матери, сжимает любимую куклу, тряпочную Мусю с накладными косами, свитыми из пеньки. Муся повернута к зрителям лицом – ей тоже надо сфотографироваться.

1902 год

Простите меня, понимаю, рассказ мой слишком затянулся, спешу добавить только краткие факты: отец Илья погиб в июле 1918 года, во время Ярославского восстания, спасая из огня женщину с младенцем. Ирина Ильинична, моя мать, умерла в 1988 году, дожив до 90 лет, только в конце жизни она передала эту фотографию мне. Анну Сергеевну, бабушку, я хорошо помню, она умерла в конце войны. Была баба Аня светлой чистой старушкой, старой без дряхлости, очень верующей, ликовавшей, когда в Калинове в 1942 году неожиданно открыли церковь.

Сам я пока жив и относительно здоров, хотя, к сожалению, бездетен. Из рода Голубевых – я последний.

*Сергей Петрович Голубев,
учитель истории школы № 15
г. Калинова*

Коля смотрел на нее сонными, детскими глазами только что проснувшегося человека.

– Ты не спишь уже? – он потянулся. – Что читаешь?

Послышалось шумное шлепанье.

– Mamочка, ты! Приехала!

Теплый. В одних трусах, босиком! Прыгнул к ним в кровать, Тетя сейчас же прижала пятки к себе – ледышки! Что ж ты бегаешь без тапочек? И где твоя пижама?

– Там знаешь какой туман? Ничего не видно вообще! – не отвечая на вопросы, говорил ей Теплый. – Но я все равно... – он замолчал, хитро улыбнулся и победно закончил: увидел твою машину!

Глава шестая

Сергей Петрович Голубев оторвался от расшифровки, взглянул в окно: в кормушку, подвешенную на березе у самого дома, спорхнула синица. Желтое подвижное пятнышко в сером облачном дне.

Как ни сопротивлялось лето, осень пришла, просочилась сквозь темноту – ночь оставляла для нее дверь незакрытой. Под утро ударяли заморозки, и все чаще сыпали дожди. Анна Тихоновна накрыла грядки пленкой. Улетели ласточки, трясогузки, дрозды, горихвостки, даже зябликов и любимых пеночек он не встречал уже несколько дней, хотя они-то обычно не торопились. Но и их никакое тепло бабье не обмануло.

В последние годы Сергей Петрович полюбил птиц. Приспособил в садике несколько кормушек для них, каждый день насыпал корм, наблюдал за ними в бинокль, вел дневник прилетов-отлетов и аккуратно записывал все замеченные виды. Засек их в Калинове и окрестностях уже девяносто восемь.

Вообще-то он недолюбливал это время, когда в несколько накатов все пустело – первыми Калинов покидали дети и городок резко стихал, смолкали крики на футбольном поле, визги у реки – все, кто приезжал на каникулы к бабушкам, возвращались домой, оставались одни местные, они такого плотного шумового фона создать не могли – так, слабый писк... Затем постепенно снимались дачники, наконец, и последние летние птицы улетали. Но в этом году Голубев точно и не замечал растущей пустоты. И сейчас, глядя на стучащую клювиком по зерну синичку, радовался. Жизнь была полна, не пуста совсем! И не в том дело, что закончилась большая конференция, только-только проводили с Гречкиным гостей. Источник радости заключался совсем в другом, забив неожиданно в самую худую минуту, в последние майские праздники.

Сергей Петрович поднялся, накинул куртку и пошел прогуляться, пока нет дождя. Пошагал, как обычно, к реке, шел задумчиво и опять, как все это время, сладко вспоминал события пятимесячной давности – те два майских дня. Как по четкам, молился ими, каждой минутой и шагом.

Хотя первый день был страшен – новый директор их калиновской школы тридцатичетырехлетний Иван Валерьевич Задохин сообщил ему, что со следующего года Сергей Петрович больше не работает в школе. Тут все и раскрылось. Груша его сдала. Ни словом не обмолвилась. Даже намек не бросила перед отъездом, не уходила, сбегала на пенсию, заткнув уши, закрыв глаза – а ведь когда-то начинали вместе, и музей школьный открывали с таким трудом, и сколько раз она потом его с этим музеем покрывала, но и он ей обеспечивал отчетность, было куда комиссии привести, сорок почти лет вместе, из них тридцать она директором, «телом» школы, он скромным, но любимым учителем, «душой». Кто-то из выпускников так пошутил на недавнем школьном юбилее.

Груша покидала Калинов, не признавшись ему, что новый, присланный директор – историк тоже. Пусть сам Сергей Петрович никакой не историк был – математик, Груша давно закрыла на это глаза, и в последние годы, почти сразу после перестройки Голубев преподавал в школе одну только любимую свою историю. Тогда Груша полна была энергии, надежд, ничуть не жалела о смене власти. И вот сбегала – якобы нянчить внуков, в Москву, к сыну! Какая из нее нянька? Но прошло ее время – вот что чувствовала она сама лучше других, люди ее поколения поумирали или просто исчезли и из департамента, и из мэрии – с новыми договариваться было все сложнее... Бежала и оставляла корабль.

Хотя когда Сергей Петрович узнал имя преемника, даже расслабился – может ли быть что злое от Вани? И действительно, при ближайшем рассмотрении Иван Валерьевич Задохин оказался совсем нестрашным, невысоким и плотным молодым человеком с русыми волнистыми

волосами (чуть длинней, чем полагалось бы директору), небольшой мягкой бородой и светлыми глазами. Он мог показаться даже красивым, если бы не легкая брезгливость на лице и слишком уж прямая осанка. Словно стеснялся, что ростом мал. На педсовете, когда Груша его представляла, Ваня тушевался и краснел, как девушка, и все они, весь их немолодой уже коллектив только выдохнул тогда облегченно: прорвемся! Напрасно.

При личной беседе в таком знакомом Грушином кабинете, где висела теперь вместо портрета Макаренко икона Богородицы, а вазочка стеклянная, всегда наполненная голубыми «мишками», пустовала – тихим, ничего не стесняющимся голосом Иван Валерьевич струил и струил мутный водянистый клейстер, из которого поначалу Сергей Петрович мог выловить только разрозненные словосочетания. Но никак они не желали срастаться в целое.

– ...нравственное воспитание... христианское сознание и национально-государственное мышление вызывают и даже требуют... Дмитрий Донской, благоверный князь Александр Невский, стяжавшие славу и дающие пример детям... Национальный инстинкт, который, как писал Иван Ильин, необходимо прививать с раннего детства. Ролевые игры... Куликовская битва... Ослябя и Пересвет...

Сергей Петрович кивал, не перебивал, он надеялся – вот-вот проклюнется смысл, сейчас... и дождался. Створожившаяся каша слов обрела вдруг болезненную внятность.

– Возраст у вас, Сергей... Петрович, – медленно прохаживаясь по кабинету, говорил Иван Валерьевич (дважды он назвал его Алексеевичем, и оба раза Сергей Петрович его вежливо, но с достоинством поправил), – уж вы меня простите, но ведь так это и есть, давным-давно пенсионный.

Сергею Петровичу захотелось вскочить и крикнуть: «Мне всего шестьдесят шесть, не так уж, не так уж давно он пенсионный! И чувствую я себя превосходно! Тридцать километров в день проходили с ребятами прошлым летом, шли бы и больше, но они выдыхались, просили отдохнуть! Так что ничего пока, и жив и здоров, и в этом году пройду никак не меньше!». Худой, высокий, легкий, он и в самом деле был еще силен и крепок, ничем не болел, только иногда подскакивало давление, и головные боли, конечно. Но мучали они его последние лет тридцать – наследство от матери. Вот и сейчас он слышал в ушах характерный шум... Хотелось заорать, но Сергей Петрович молчал. Он знал, стоит дать раздражению волю, оно перерастет в гнев, гнев – в бешенство, а там уж... Поэтому Груша и ходила по кабинетам сама, знала, как он вспылчив.

– Кружок мы вам, разумеется, оставим, – невозмутимо продолжал Иван Валерьевич, и снова Сергею Петровичу хотелось заскрежетать зубами: кто это мы?

– Музей боевой славы – это похвально, патриотическое воспитание, наглядные экспонаты, каски, медали, гранаты, – Иван Валерьевич едва заметно, как показалось Сергею Петровичу, усмехнулся, – но ведь тема эта, называя вещи своими именами, уже исчерпана, вы хорошо потрудились, но известно ли вам, Сергей Алекс... простите, Петрович, известно ли вам, Сергей Петрович, как славна земля наша, как сияет Ярославщина ратниками воинства Христова – подлинно русскими, святыми людьми, тайными подвижниками, мучениками, блаженными – и прославленными уже, и местно чтимыми. Митрополит Агафангел, архиепископ Серафим, иерей Иоанн Миротворцев, исповедницы Агриппина, Евдокия, Анастасия... Но их хоть кто-то знает, а многие и вовсе неведомы... Вот чем бы и стоило заняться вам на кружке с детками (это старшеклассники – «детки»? – сглотнул, морщась, Голубев), составлением их житий, жизнеописаний, тогда и «Основы православной культуры», которые мы со следующего года введем, лягут на взрыхленную почву.

На какую почву? Куда лягут?! Огнем горели дипломатические победы, которые Груша, Ольга Ефимовна Грушина на самом деле, одна за одной одерживала в департаменте. Два года подряд удавалось школе выстаивать атаки. И не то что ведь Ольга Ефимовна была такой уж яркой противницей предмета, наоборот, скорее – но как профессионал она понимала: препода-

вателей хороших по ОПК нет. Их нужно вырастить сначала и научить! А плохие только напорчат, только ненависть в детях вызовут. Это-то, судя по всему, принятое уже новым директором решение об ОПК Голубева и подкосило.

– Как вы смеете говорить мне все это? В-вы, – он и заикаться начал, как всегда, когда приступ приближался, – Вы, Ив-в-ан В-в-алерьевич не удосужились даже понять, что за музей у нас такой, как он н-называется, а это, заметьте, вовсе, вовсе не музей боевой славы, Вы даже в н-него не заглянули – и... – он задыхался. – Наш музей называется «Этнографический», запомните, этно-гра-фический! Пригодится для отчетов. Потому-то и устроен он в избе-шестистенке, которую завещала школе одна бабка, и мы своими силами перевезли ее во двор школы. Какая это была удача, и сколько понадобилось согласований! Этнографический, вы запомнили? Скольких ребят удалось выправить нашими экспедициями, этим простым и понятным делом – собирать с-старину – и так только не дать утонуть им в раннем пьянстве, драках, в этой праздности нашей, особенной, сельской!

Голубев уже кричал, кричал в голос.

– Несколько человек пошли на исторический! И я могу только как оскорбление рассматривать ваши слова!

– Какие, какие слова? – оторопел Иван Валерьевич.

Но Сергей Петрович уже поднялся, крепко двинул стул ногой назад, направился к двери.

Иван Валерьевич сделал протестующий жест, заговорил послабевшим голосом:

– Подождите, подождите, о кружке речи нет, мы вам его оставим... Просто нужно немного изменить формат. Менять формат...

– Формат? – Сергей Петрович остановился, развернулся и пошел прямо на директора. – Формат?

Ваня съезжился, краска с румяного лица вдруг схлынула, но в последний миг Голубев его помиловал, живи, Ванюша, – развернулся, схватил вазочку! Сжал ее, столько лет стоявшую здесь с конфетами, а теперь пыльную, пустую – жажнул об пол. Вспыхнул фонтан стеклянных брызг, одна ткнулась в ногу, царапнула сквозь брючную ткань. Этот укол боли словно отрезвил Сергея Петровича, он развернулся к директору и уже совершенно спокойно, веско произнес, глядя Задохину в глаза:

– Желаю здравствовать.

Слегка поклонился и закрыл за собой дверь.

Вот так все и было кончено, в полчаса!

Зато как же теперь он был Ивану Валерьевичу благодарен: если бы не тот разговор, тот день, день первый, – не было бы и следующего, чудесного, Божьего. И, шагая сейчас по тропинке вдоль берега осенней серой реки, за спинами домов, ежась от налетавшего ветра, Голубев взялся за день второй – и тут уж не спешил, нет, вслушивался в него, сам с собой тогдашним рядышком шел.

Хотя ничто сначала не предвещало чуда. После разговора с Задохиным и тяжелой, полубессонной ночи Голубев проснулся чуть свет, сел на кровати, поняв, что не уснуть больше никак, сжал голову. Но тут за окном запела пеночка, так чисто и юно, что он решил ехать не откладывая, прямо сейчас. Лишь бы не сидеть дома, не перебирать все подробности катастрофы – отвлечься.

Аня встала тогда тоже, услышав, что он возится на кухне, вышла, тут он и признался ей, что из школы, видимо, придется уйти, а сейчас он едет в Покровское, проведать усадьбу, Гречкин два раза уже звонил, просил, нужно наметить объем работ...

Даже сейчас, тихо идя по осеннему берегу, глядя, как застыла на реке фигурка рыбака в капюшоне, при мысли о том мучительном утре Сергей Петрович снова помрачнел, сдвинул страдальчески брови, но тут же одернул себя, стал вспоминать дальше, дальше – как пошел из дома, втиснулся еле-еле в первый по расписанию и все равно забитый рейсовый автобус,

как кое-как пристроился к заднему окну, бросил рюкзак в ноги. И всю дорогу морщился от головной боли, прел на майском солнышке, уже спозаранку палившем в пыльное стекло, жалел, что слишком тепло оделся, а стянуть свитер в тесноте было неудобно, нервничал, что не взял таблеток от головы, и теперь день мог быть загублен, вспомнил, что бинокль тоже оставил дома, и если попадутся (наверняка!) редкие экземпляры...

Везде по краям дороги лежали крупные ветки, в мелькавших перелесках то и дело попадались сломанные деревья. В Лукошино он заметил и две искореженные машины, в Ермаково поваленный столб: в те дни над ними промчался ураган. Задел и Калинов, но без особых последствий – только провода оборвал, сутки они прожили без электричества. Покровское вроде бы осталось от бури в стороне – и, глядя по телевизору на стрелочки метеорологов, проходящие рядом, но все-таки мимо Покровского, Сергей Петрович надеялся, что усадьбу, любимое их Утехино, расположенное от Покровского в трех километрах, стихия обогнула. Но теперь Голубев видел: ураган похозяйничал всюду, и все больше нервничал: что там? жив ли дом?

Тогда старому барскому дому только еще предстояло принимать гостей.

Директор их городского краеведческого музея, в далеком прошлом тоже ученик Сергея Петровича, но давно уже просто добрый приятель, Андрей Тимофеевич Гречкин занял директорское место лет восемь назад, до того полжизни протосковав в замах. Он и раньше суетился, ездил по школам, организовывал экскурсии, просвещал детей и народы, правдами и неправдами добывал для музея новые экспонаты, но под тяжелым взглядом директрисы... На свободе Гречкин по-настоящему расцвел. Без конца катал в Ярославль, познакомился с губернатором, нужными людьми в администрации, не без пользы для дела, разумеется, постоянно участвовал, заседал, выступал, состоял. Дамский угодник, но убежденный холостяк, Гречкин неожиданно для всех женился! На аспирантке ярославского иняза. Возможно, не без расчета – жена не только сделала его молодым отцом, и Егорка в этом году должен был идти в школу, но стала первой его помощницей по части международных связей, поскольку одним из директорских нововведений стали научные конференции. Международные. Хотя сроду никаких конференций их скромный музей не проводил. Что ж, лиха беда начало.

Первыми в Калинов съехались островковеды, отмечали 145-летие драмы «Гроза», была даже одна профессор из Москвы и две дамы из Пушкинского дома. На следующий год прошли более скромные краеведческие чтения (тут губернатор поскупился), на которые собрались в основном свои, местные – ярославские, угличские и рыбинские, но между прочим, тоже немало интересного рассказали друг другу. Выступил и Сергей Петрович, с небольшим докладом о судьбе и трудах одного из самых известных когда-то рыбинских архивистов и краеведов Софьи Никитичны Кологривовой, старшей коллеги Ирины Ильиничны Голубевой, собственной его матери – да. В этом году Гречкин придумал отмечать двухсотлетие со дня рождения поэта Алексея Николаевича Адашева (1804 – 1867). Дата внушительная, и поэт, автор пейзажной и любовной лирики, двух исторических драм и одной поэмы в народном духе, без всяких натяжек был своим, практически калиновским. Действительно, Алексей Николаевич большую часть жизни прожил в пятидесяти километрах от Калинова, в той самой усадьбе Утехино, куда и ехал сейчас Сергей Петрович.

Литературное наследие Адашева-поэта было невелико, специалистов по нему тоже не существовало, и юбилейную конференцию Гречкин, посоветовавшись с Сергеем Петровичем, решил посвятить не столько поэтическому наследию А.Н. Адашева, «оригинального поэта сентиментального направления, чьи поэтические опыты были замечены самим В.Г. Белинским» (как писал в заявке на грант Гречкин, не сообщая грантодателям, что стихи Адашева были названы критиком «старыми погудками на новый лад»), сколько истории его разветвленного и древнего по происхождению рода, являвшегося «ярославской» веткой, что росла

от основного ствола тех самых славных Адашевых, выдвинутых, а затем загубленных Иваном Грозным. Впрочем, не до конца.

Тут Гречкин добавлял, выдержав паузу, что большую часть жизни поэт провел вот здесь (непределенный взмах рукой), под Калиновым, причем в лихие годы лишь адашевское поместье сохранилось. Все вокруг и без всякой жалости жгли местные крестьяне, а его не сожгли! Почему? Да потому что любили барина, родного сына нашего великого поэта, – горячо заключал Гречкин.

Гречкин старался не зря. Администрация области приняла историческое решение выдать музею внушительный грант на проведение международной научной конференции, покупку компьютеров и другие неотложные нужды. Деньги перевели на удивление быстро, компьютеры закупили без проволочек, Гречкин с помощью продвинутой пользовательницы (молодой жены) разместил объявление о конференции во Всемирной сети, освоил электронную почту и двумя пальцами печатал неторопливые ответы откликнувшимся ученым. А таковых оказалось немало.

Осенью ожидалось гости из Москвы, Петербурга, Смоленска и Ярославля, любопытство и желание приехать изъявили даже видный специалист по русским генеалогиям из Сан-Франциско, славист из Финляндии со сложно выговариваемым именем (произнося его по слогам, Гречкин заливался тихим смехом) и один житель Лиона – историк-любитель, господин Andrew Golitsyn. И все-таки Гречкин понимал: как ни мил Калинов, наполовину по-прежнему деревянный, с чудесными видами, открывающимися на Волгу, с купеческими каменными домами, в одном из которых расположилась городская библиотека с концертным залом, как ни занятен его краеведческий музей с каменными наконечниками и русским домотканым платьем на первом этаже, интерьерными избы и дворянского кабинета на втором, как ни пестр школьный музей-избушка Сергея Петровича, а все же по-настоящему крупная достопримечательность, которой можно порадовать гостей, была одна – барский дом в Утехино, что стоял рядом с Покровским. Когда-то Утехино и Покровское почти смыкались, но после революции село съезжилось, откатило за дорогу, усадьба зажила отдельной жизнью.

Построенный в конце XVIII века дедом поэта генералом Адашевым дом чудом выжил и по-прежнему оставался изящен, подтянут, а благодаря башенке наверху еще и весел. Вспомнив о башенке, Сергей Петрович, уже подъезжавший к Покровскому, даже посветлел лицом, но тут же нахмурился – если только ветер не... Но ведь столько раз выживал дом прежде! Будто ангел-хранитель был приставлен к нему и охранял его – упрямо, грозно, с щитом и мечом, – ограждая от пожаров и разгула стихии, от злых людей и бурь пострашнее ураганов.

Сразу несколько счастливых обстоятельств продлили жизнь Утехино.

Крестьяне, сжигавшие и рушившие, точно в лихорадке, помещичьи усадьбы, казалось бы, подряд и без разбора, Утехино не тронули. И не было этому никаких объяснений, кроме двух – то ли это случайный кульбит царившего Хаоса, то ли сознательная любовь крестьян к последней хозяйке Анастасии Павловне, супруге Владимира Алексеевича Адашева, сына поэта. Анастасия Павловна, Ася, была из простых и, быть может, поэтому заботилась о местных жителях. Выписала из Москвы доктора, поселила его в отдельном флигеле, организовала амбулаторный прием для всего Покровского. По праздникам ворота усадьбы растворялись: возле барского дома ставили столы с угощением, на площадку выходил оркестр – хозяйка была мастерицей танцевать, танцевала и со слугами, а в конце раздавала гостям подарки, кому – платок, кому – леденец, кому – книжку. Ее стараниями в деревне была открыта и народная читальня, куда выписывались газеты и журналы. И охотников их читать находилось немало. Сыновья барыни играли с детьми слуг в футбол, удили рыбу в прудах и купались в Кунжутке.

Еще один секрет долголетия усадьбы состоял в том, что после семнадцатого года Утехино никогда не пустовало. Сам Адашев умер еще в 1912 году, семейство его разъехалось, в 1918 году усадьбу признали памятником местного значения, но поначалу ничто в ее судьбе

не изменилось: еще несколько лет в доме продолжал жить бывший адашевский камердинер с семьей. Потом его уплотнили, камердинер переехал во флигель, пока тоже не покинул Утехино со всеми домашними. После этого в усадьбе несколько лет располагался военный санаторий, а в конце войны открылась и почти полвека работала лесная школа для начальных классов. В уцелевшей, хотя и потерявшей в 1930-е годы купол Никольской церкви устроили склад, в чайном домике – небольшой, но светлый спортзал, в каменных флигелях расселился персонал. В начале 1990-х поток детей иссяк, и школа закрылась.

Вездесущий Гречкин, тогда еще бегавший в замах, убедил директрису оформить Утехино филиалом их краеведческого городского музея, но на экспозиции в усадьбе не хватало ни времени, ни сил. В 1992 году в усадьбу неожиданно въехал новый хозяин, «наследник», пятидесятилетний Георгий Иванович Барсуков, родной правнук того самого уплотненного камердинера, в недавнем прошлом – геолог. Правдами ли, неправдами, но в Утехино Георгий Иванович поселился крепко, и вскоре усадьба расцвела – от дома тянулась теперь аккуратно подстриженная аллея, на обоих прудах уже не зеленела тина – Барсуков их расчистил и в большом развел карасей, которых можно было разглядеть даже с берега – под водой скользили темные, ленивые тени. Появилась в усадьбе и живность – две коровы, козы, лошадь. На ней, дымчатой красавице Мари, или попросту Марусе, Барсуков приезжал в Калинов за продуктами. Начал он и охотиться. Натянув болотные сапоги, шагал в рассветных сумерках с умным и шустрым Свифтом (черным шотландским сеттером), которого сам же обучил делать стойку.

Местные жители прозвали Барсукова «барин», но беззлобно, барин-то был за крепостного сам у себя – пахал, не покладая рук. К тому же несмотря на внешнюю угрюмость Барсуков постоянно нанимал в помощники окрестных мужиков и, по местным меркам, вполне щедро с ними расплачивался. А когда появились лошади, стал давать работникам, заодно и бабкам из Покровского драгоценный конский навоз, от которого на деревенских огородах все так и пухло. Десять лет почти провел Барсуков в Утехино под строгим приглядом Гречкина и с помощью двух присланных им реставраторов потихоньку реанимировал дом. Пока усадьба не приглянулась случайным московским гостям из одной крупной компании. Началась судебная тяжба, итог которой был предрешен – в ответ Георгий Иванович, как выяснилось, сердечник, внезапно умер.

С тех пор вот уже год усадьба пустовала – компания та, как прочел Голубев в газетах, разорилась, видимо, поэтому москвичи в Утехино так и не появились. Только вот Барсуков до этого не дожил. И пока ключи от усадьбы хранились у Гречкина.

...Тут Сергей Петрович остановился, сбился, отвлекся он что-то на Барсукова. Он огляделся и увидел, что уже дошел до любимого своего места, на краю города, присел на им же сколоченную когда-то и врытую лавчонку. Вид отсюда открывался дивный – река изгибалась, на другом берегу кончалась деревушка Рачково и по крутому склону поднимался лес, золотой, но еще не прозрачный, густой. Так что же дальше, что-то сбивается он все время? И Сергей Петрович, решив, что теперь уж не будет отвлекаться и доспоминает тот день до конца, до самой крыши – тут он усмехнулся собственной шутке, – снова переместился из сентябрьского пасмурного денька в майское утро, и, одурев от духоты, выпал из распаренного автобусного нутра.

В полуобмороке забрел тогда в магазинчик – дощатый, покосившийся домик, который закрывался на зиму и начинал работать как раз на майские праздники, с приездом первых дачников. Сергей Петрович поздоровался с отчаянно зевавшей продавщицей, сдержанно поздравил ее с началом сезона. Молодая круглолицая деваха с нежно-сиреневыми веками сонно улыбнулась, протянула ему двухлитровую бутылку с водой и большой целлофановый пакет с новогодней снежной картинкой. Выйдя на улицу, Голубев отвинтил крышку, крупно глотнул, плеснул воды на голову, промокнул лицо рукавом. Сунул пакет в рюкзак, а когда клал бутылку,

нащупал на дне, под инструментами, странный сверток – вытащил: бутерброды. Анна Тихонова все же сунула ему их тихонько. И впервые за то утро он улыбнулся.

Зашагал весело по пустой, обсыхавшей от весенней воды дороге. По свободной уже ото льда Кунжутке плыли крупные облака, в изгибе дрожали домики Покровского, когда-то нарядные, в резьбе, теперь все почти некрашенные, многие – пустые. Только к лету кое-какой народ подтягивался, приезжал как на дачу. Вот и сейчас около одного домика он заметил явно недавно приехавшую красную «Ниву», возле соседнего – «жигуленок». На лужайке возле села паслись три коровы, привязанные к столбикам. Приятно пахло дымком.

Головная боль незаметно отпустила, Сергей Петрович подставлял лицо легкому ветру, еще свежему, утреннему, шурился на блестящую от солнца реку. Над рекой резко, словно вспугнутая, блеснув опереньем, вскинулась утка, за ней – вторая, обе полетели, хлопая крыльями, над самой водой. Ближе к дороге река была заболочена, здесь нарядно зеленела тина, лесной мусор тихо полз по темной воде. Шевелились под ветром сухая трава у берега, и прошлогодние облысевшие камыши, кое-где голубела хохлатка. Вдруг гулко плеснуло, раздалось утробное хулиганское тарактенье. Лягушка. И тут же, точно передразнивая, в ответ ей заквакала другая.

И уже как не было мучительной ночи – Сергей Петрович улыбался и речке, и уткам, и квакушкам. Ему всегда нравилось это зыбкое переходное время, когда высыхали ручьи, на землю опускалось первое тепло, но зелень еще не хлынула, не было бурного цветения, только робко, несмело, земля замирала девушкой перед венчаньем.

Деревья уже подступили к дороге. На обочине снова появились крупные ветки, да и в самом лесу, он уже видел отсюда, мелькали сломанные деревья – значит, ураган сюда все-таки добрался. И снова заскребла тревога. Сергей Петрович свернул вправо, на лесную тропу.

Лес, еще сырой, непросохший, совсем прозрачный, звучал на все голоса. Самым отчетливым и близким было поцокивание. Цок-ток-ток. И тихий писк, словно пищит ребенок. И цок-ток-ток. Рябинник, прямо над головой. Самка должна бы уже высидывать яйца, это самец пел прощальные песни. А вот точно флейта играет, отрывисто, тонко, но четко – дрозд. Курлыкающий горловой клекот, попискиванье. И далекая различимая лишь в паузы тишины бархатная барабанная дробь дятла. Оркестр. В его честь! В кусты совсем рядышком спорхнула с березы бежевая птица с голубым мазком на крыле – сойка. Посидела, повертела головкой, но, едва Голубев шевельнулся, исчезла в зарослях.

Вот и бетонный забор, с пробоиной у столба, Сергей Петрович протиснул рюкзак, просочился сквозь ограду и сразу же очутился в бывшем господском парке, который, впрочем, в этой части мало отличался от леса вокруг – те же березки, дубы, осины. Он двинулся напролом. Вот и сосны, специально здесь посаженные когда-то, и бывший прудик, квадратный, скрытый со всех сторон зарослями, сейчас уже просто овраг, полный талой воды. Он был третьим в усадьбе, по прозвищу «дальний». Барсуков в этот конец парка так и не добрался, говорил, что в любом порядочном парке должны быть глухие, заброшенные места. Следил только, чтобы никакие отдыхающие из Покровского и Кульбятово не устраивали здесь пикников.

Сергею Петровичу стало вдруг грустно, он подумал, что сейчас-то обязательно найдет костровища, пивные банки, чужую человеческую грязь, полтора года без хозяина – огромный срок... Вспомнил и самого хозяина, постоял молча, глядя на холодную зелень сосен, на коричневую, почти черную воду в зеленой ряске.

Внезапно над головой сухо, страшно загрохотало. Он отскочил в сторону, что-то падало прямо на него. Сосна захрустела, затрещала, будто кто-то быстро ломал ее наверху, и сейчас же от дерева отделилась гигантская, ослепительно-черная птица. Изумрудная прозелень в лаковых, мохнатых крыльях, мгновенно мелькнувшая круглая, как нарисованная, красная бровь. Глухарь! Птица пикировала прямо на него, сделала три-четыре взмаха, просторных, на миг свет затмило, он уже голову в ужасе прикрыл, но она шумно рванула в сторону – разглядела?

Замахала быстрее, мельче, оглушительно хлопая крыльями, поднялась выше и вот уже скрылась среди деревьев. И снова все стихло. Только щебет все тех же птиц, тонкий, слабый, после грохота такого беззвучный.

Не могло этого быть, сроду не водилось здесь глухарей. В трех километрах отсюда проходила дорога, по ту сторону от нее начиналось Покровское, мычащее, блеющее, жужжащее электропилами, нет, слишком шумно. Хотя Покровское-то, сообразил Сергей Петрович, за последние годы опустело, да и машин с исчезновением колхоза по дороге стало ездить меньше, может, глухарю теперь не так уж и боязно стало тут токовать.

Глухарь был подарком. Сладким черным кулком, врученным невидимым лесным богом. Явление глухаря. Глухарь ему явился. И тяжело, уверенно пообещал чудо. Только так Сергей Петрович это потом и вспоминал.

После этой внезапной встречи он и ощутил особенный ритм того дня, и что есть в нем особая задача, которую ему еще предстоит разгадать и исполнить.

Голубев пошел дальше, вот и каменная ротонда – «беседка свиданий», когда-то их было несколько, но сохранилась только одна. У дуба, росшего здесь же, прежде стоял и хоровод наяд – узнать об этом можно было лишь из рисунков Адашева-младшего, второго сына поэта, – Арсений отлично рисовал, он погиб юношей на войне. Рисунок сохранился до сих пор, лежал в Ярославском областном архиве – можно было бы, не поскупись мэр, даже восстановить их по этому наброску.

Голубев уже шел по центральной аллее, некоторые липы здесь росли с тех самых времен и стояли крепко, ни одну не повредил ураган. Только молодая березка в стороне была переломлена, и опять он вздрогнул – а дом?

Но двухэтажный деревянный, темный, хотя и слегка пригорюнившийся, словно ссутулившийся за зиму дом стоял, стоял как прежде, спокойно и твердо. Отсюда не было видно ни бельведера, ни мезонина, Сергей Петрович начал огибать дом слева, уже потянуло сыростью от большого пруда, прошел мимо закрытых на наружные ставни окон к главному входу, взглянул на фасад, со стороны высокого каменного крыльца с колоннами, и сердце у него оборвалось.

Старая береза, испокон веков здесь росшая и явно знавшая еще дореволюционных хозяев, сломалась и упала прямо на крышу мезонина. Хотя сам мезонин остался как будто невредим. Основной удар принял на себя бельведер, под тяжестью ствола та самая башенка, так украшавшая старика, слегла. И лежала теперь почти горизонтально. Банька возле большого пруда, все еще чистого, ясного, была цела, а бельведер...

Сергей Петрович закрыл глаза, обнял ладонями голову, но почти сразу встряхнулся и прибавил шагу.

Береза была переломлена на уровне человеческого роста. С его топориком не справиться. На траве у надломленного ствола что-то лежало. Он пригляделся: пустое гнездо, только странного, светло-серого в желтизну цвета. Сергей Петрович поднял, положил на ладонь: гнездо было свито из непонятных мелких кусочков, напоминающих бересту. Он поддел ногтем кусочек, оказавшийся совсем легким, не берестяным, – вытянул, разгладил. И рассмотрел на клочке бурый знак. Чернила. Это была старая, пожелтевшая бумага. Но что написано, не понять – значок, не похожий ни на одну букву – он глядел, глядел, и вдруг догадался: да это же... Ъ. Ять. Он держит в руках обрывок... письма? Чьей-то рукописи?

Но некогда было думать, Голубев положил гнездо на скамью возле дома, поднялся на крыльцо. Замок поддался почти сразу – зашел на террасу, в лицо ударило холодом, нежилым. Было совсем темно, ставни-то закрыты, лишь из распахнутой двери лился слабый свет. Все здесь было вроде как прежде – посреди террасы стоял хорошо знакомый ему деревянный круглый стол на крепких резных ножках, за ним Барсуков поил их чаем, когда Сергей Петрович приезжал весной с «бандой», кружком краеведческим, помогать по хозяйству. Все тот же желтый абажур свешивался над столом, все те же ажурные белые стулья... Он поднялся по лест-

нице на второй этаж, затем в мезонин, сюда Барсуков их не пускал, оказалось, здесь он хранил книги – фонарик осветил белые обложки журнала «Приусадебное хозяйство», пособия по коневодству, а вот и лаз в бельведер, разумеется, закрытый. Сергей Петрович встал на стул, не достал. Спустился вниз, в кладовую, там у Барсукова всегда хранилась отличная раскладная лестница-стремянка, и, к радости своей, ее обнаружил. Но и стремянка не помогла, квадратная крышка не поддавалась. Конечно, изумился Сергей Петрович своей недогадливости. Она же придавлена березой сверху.

Голубев вынес стремянку на улицу, выдвинул на максимальную высоту, поставил, примериваясь у дома, – вполне дотягивалась до крыши.

Но ноги у него подгибались, все это время он двигался как в лихорадке – нет, надо было отдохнуть, посидеть немного, а там, бог даст, и забраться наверх. Он смел прошлогодние листья со стоявшей под липой у крыльца деревянной чуть сыроватой скамьи, подстелил штормовку, сел, вынул бутылку с водой, развернул бутерброды. Оказалось – три с сыром, один с вареньем – на десерт. Солнышко припекало совсем по-летнему, две голые липы, под которыми стояла скамья, ничуть не укрывали от жаркого света. После обеда на несколько минут он задремал, но быстро встряхнулся, разложил газету. На ней аккуратно разворошил гнездо – оно состояло не из одних только бумажек, как ему показалось сначала, но и из травинки, листьев, птичьего помета и еще какой-то неясной, серой субстанции. Дома надо будет по определителю попробовать понять, чья это манера, что за птицы. От гнезда, а теперь и от рук его шел сильный земляной запах. Он сполоснул руки, отделил бумажки в отдельную горсточку, начал их рассматривать. Кое-где угадывались буквы, «и», «с», «а», «д» с завитушкой. Но ни слова, ни даже слога не читалось – птички как следует обсосали бумажки. Некоторые были и вовсе без чернил, и заметно плотнее, чем с буквами, – конверт, догадался Сергей Петрович, бумага от конверта, действительно, на одном таком твердом клочке удержалась даже крупная коричневая крошка – сургуч. Он поднялся и полез на крышу.

Наверху было парко, жарко, Сергей Петрович подтянулся на животе по нагретой крыше мезонина к самой башенке, царапаясь о сильно мешающие березовые ветки. Крыша прежде застекленного, но давно заколоченного досками бельведера была пробита деревом насквозь, сам бельведер накренился, смялся. Сквозь дыру виднелась куча рваной бумаги, расплзшейся в мокрую, желтую кашу, сюда добрался дождь. Сергей Петрович просунул руку под ствол, потянулся дальше, в глубину, нащупал сухой угол, все с теми же бумажными обрывками, вытянул кусок, что-то на нем было написано. Повертел. И прочитал: «...лая Ася»...

Милая Ася. Ну, конечно! Асей звали супругу старшего сына Адашева-поэта, ту самую Анастасию Павловну – красавицу, Владимир Алексеевич, человек важный, уездный предводитель дворянства, женился на ней, невзирая на разницу их положений и тридцатилетний разрыв в возрасте. Ровный жар начал заливать Сергея Петровича уже и изнутри, он отер пот свободной рукой, осторожно положил лоскуток бумаги в карман рубашки. Снова запустил руку в сухой угол, поворошил бумажки еще, но, сколько ни доставал, попадались только крошечные обрывки, многие в птичьем помете – не прочесть, не разобрать ни слова. И вдруг он нащупал твердую картонку, вытащил. Визитка. «Борис Владимирович Штюрмер, губернатор». Был такой, сейчас же вспомнил Сергей Петрович, губернаторствовал и либеральничал в Ярославле, правда, оказался нечист на руку, что ничуть ему, конечно, не помешало: вскоре Штюрмер стал большим человеком, любимцем государя, попал в Государственный совет. Визитка относилась ко времени ярославского губернаторства, когда Штюрмер налаживал отношения с местным дворянством, значит, и в доме Адашева бывал. Голубев опять запустил руку, вынул новые бумажки.

И еще два слова ему удалось разобрать на клочках: «распоряж», видимо, «распоряжение», и вдруг – «зацвѣли» – о Господи, что же, что зацвело у них там в далеком позапрошлом веке? Все остальные бумажки были изорваны на мелкие кусочки, похоже, сознательно.

Конечно, лихорадочно соображал Сергей Петрович, бумаги, письма, видимо, рвала как раз Анастасия Павловна, очевидно, уже не успевая уничтожить иначе, рвала, убегая прочь, от революции, поджогов, смерти, от вчера еще так любивших ее крестьян, и опять он ворошил и ворошил клочки, хотя невыносимо затекла уже спина и устало колено, на которое он опирался.

Наконец Сергей Петрович пополз вниз, слез, вынул целлофановый пакет из рюкзака, поблагодарил мысленно продавщицу, снова залез на крышу, и еле живой уже, с мутной головой, выгреб все, что смог, из дыры, до последней бумажки, сложил в пакет. Каждый раз опуская в тайник руку, он наткался на какой-то твердый, деревянный угол. Он не сразу осознал, что неоткуда там взяться деревяшке, но, поняв, испугался. «Не довольно ли на сегодня? Не лишнее ли беру?» – думал Голубев, а сам двигал руку все глубже. Деревянный угол был как будто даже резным, наконец он исхитрился, дернул за угол посильней, и тот поддался, но дальше все-таки не пошел. Сергей Петрович поднажал плечом на ствол березы, ствол сдвинулся на несколько миллиметров, дернул за угол снова, и через полчаса мучений наконец был вознагражден. Вытащил. Закрывает резную шкатулку.

В крыше бельведера скрывался тайник, до которого не добрались ни большевики, ни партийцы, ни Барсуков.

Голубева охватил вдруг нервный смех. Да что ж это? Точно в книжке, какой-нибудь приключенческой пионерской повести! Шкатулка, запертая на ключ! И он хохотал беззвучно, почти против собственной воли, рискуя свалиться. Наконец Сергей Петрович спустился вниз.

И долго еще сидел на лавочке, не в силах двигаться, среди поваленных деревьев, пока радость и ощущение счастья не разрослись в нем: он был спасен, Анастасия Павловна спасла его, изгнанного из школы, вручив из-за гроба новый смысл жизни.

Дома, в Калинове, весь вечер Сергей Петрович провозился с шкатулкой. Не хотелось ее повредить, и то шилом, то самой тонкой отверткой осторожно шевелил он в проржавевшем замочке. Только за полночь тот наконец щелкнул, и Сергей Петрович поднял тяжелую, отсыревшую деревянную крышку. В темно-синем бархате лежали две завернутые в пергаментную бумагу восковые венчальные свечи, вышитый бисером батистовый платочек, пожелтевшая младенческая распашонка в кружевах и тетрадь в коленкоровом переплете. Сергей Петрович аккуратно вынул ее, раскрыл: бисерный нечитаемый почерк, только первая запись сделана чуть крупнее и довольно разборчиво. «6 апреля 1909. Пришел первый пароход. День теплый, как летом. Снегу на полях совсем мало, только у самых огородов, дорога почти просохла. Птицы поют, кричат, как летом, оживляя лес и поля». Дневник. Ася не решилась порвать его вместе с другими бумагами. Очень все-таки надеюсь вернуться.

Так и кончился тот день, озаривший жизнь ему.

Сергей Петрович давно уже встал со своей лавочки на реке и подходил к дому – чтобы вернуться к главной своей работе теперь, Асиным каракулькам. Он расшифровывал их вот уже пятый месяц, попутно ходил в библиотеку, несколько раз уже ездил и в архивы, в Ярославль и в Углич, собирая новые и новые сведения – о Владимире Алексеевиче Адашеве и вообще адашевском роде, а заодно, раз уж так сложилось, и о собственной семье потихоньку, чтобы не простаивать, когда не несут нужных документов. Именно такую открыл он вторую тему, семейную – давно уже хотел, но вряд ли бы собрался, если бы не она, красавица Ася, помощница и покровительница.

Глава седьмая

Тетя сидела в кафе, повесив мокрый зонт на стул, перекинув плащ через спинку, – и перечитывала эсэмэску.

*Пыль мирская на черных моих сапогах и на шляпе моей
камышовой. Я мечтаю чету белых птиц увидеть, когда я
доберусь до Цанчжоу.*

Вторая часть стихотворения хранилась в следующей эсэмэске.

*Конь сухой ботвою бобовой хрустел в час полдневный, когда
я заснул, И приснился мне ветер на Цзяне, и дождь, и волны
набегающей шорох².*

Она читала эти стихи третий день подряд, почти выучив их наизусть и полюбив каждое слово, даже не слишком ловкое «конь сухой ботвою бобовой хрустел». Она уже знала из Интернета, что Цзян – река, а Цанчжоу – город на востоке Китая, в котором добывают соль, ткнут ткани, а на экспорт выращивают фрукты и чай, и что автор стихотворения Хуан Тин-Цзянь – поэт эпохи Сун, основатель целой поэтической школы, поклонник канона и просвещения, считавший, что хорошие стихи – это соединение природного таланта и книжных знаний. Мелкий чиновник, он так и не сделал карьеры, будучи честен и неудачлив, если только это не одно и то же. Впрочем, на рожон Хуан Тин-Цзянь тоже не лез и, намекая в стихах на горечь несправедливых обид, никогда не позволял себе выпадов против обидчиков и высшего начальства.

Тетя ждала Ланина. Это была его эсэмэска, и это он неожиданно пригласил ее сюда. Чтобы обсудить проект. Тот самый, «Семейный альбом». Она так и не успела прочитать второе послание Голубева, но Ланин сам позвал ее – поделиться хотя бы первыми впечатлениями. Она даже взяла машинопись Голубева с собой, чувствуя себя двоечницей, не исполнившей урока, надеясь почитать еще немного здесь, но не могла.

В четверг после обеда солнце спряталось, зарядил дождь, хотя было по-прежнему тепло, и Тетя рассеянно думала, что теперь, когда на улице дождь, стихи стали похожи на сегодняшний день.

В кафе, расположенном через квартал от их редакции, пахло свежим кофе, ванилью, корицей, круассанами. Перед ней уже лежало меню, но она решила дождаться Ланина. Тетя почти не волновалась, ощущая лишь любопытство и вместе с тем расслабленность. Три часа жизни ей подарила Лена и рекламная служба. Еще утром она была уверена, что останется в редакции допоздна, Теплового из сада должен был забрать Коля, но рекламы на завтра оказалось слишком много, а значит, и текстов мало. Слетело две полосы. Лена, помня, что Тетя в редакции с утра, отправила ее домой в полшестого, «к мужу и детям».

У лифта Тетя, уже в плаще, столкнулась с Ланиным, Михаил Львович вежливо поинтересовался, не освободилась ли она на сегодня, и, услышав утвердительный ответ, сказал, что как раз собирался с ней обсудить, как продвигается чтение, уточнить кое-какие детали проекта – нет-нет... зачем же здесь, в редакции? Не лучше ли выпить чашечку кофе во французском кафе на углу, там мило. Тетя было задумалась, но Ланин уже говорил – с мягкой повелительностью, – чтобы ждала его там, сейчас он ее догонит, только забежит на минутку в кабинет. До кабинета он, впрочем, не дошел – Денис из фотослужбы остановил его прямо в коридоре –

² Перевод с китайского Л. Меньшикова.

выбрать фотографию на первую полосу. Ланин быстро ответил ему, ткнул в нужный снимок, Денис исчез, и снова Михаил Львович подошел к ней, так и стоявшей у дважды уже уехавшего лифта, извинился и с ласковым, но не терпящим возражения видом попросил ждать его прямо в кафе.

Теперь она перечитывала строчки, вдыхая запахи еды и горьковатый аромат этого осеннего стихотворения, написанного девятьсот лет назад, а он не шел и не шел, и каждая минута тянула на вечность. Как вдруг она почувствовала его и подняла голову.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.